

Хамид ИСМАЙЛОВ

ВУНДЕРКИНД ЕРЖАН

Повесть

Опубликовано в журнале:
«Дружба Народов» 2011, №9

Хамид Исмаилов родился в 1954 г. в г. Токмак Киргизской ССР. Автор более тридцати книг поэзии, прозы, переводов. Пишет на нескольких языках. Живя последние пятнадцать лет в Лондоне, больше известен в англо- и франкоязычном литературном мире, нежели в России. Роман “Железная дорога” завоевал несколько премий в Британии и США. В “ДН” напечатан его роман “Мбобо” (№ 6, 2009).

В 1949—1989 годах на территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП) было проведено в общей сложности 468 ядерных взрывов, в том числе 125 атмосферных, 343 под землей. Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных в атмосфере и над землей СИЯП (в населенной местности), в 2,5 тысячи раз превышает мощность бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму в 1945 году.

Парламент Республики Казахстан
24 июня 2005 г.

Эта история началась весьма прозаически. Я ехал поездом по нескончаемой казахской степи: вот уже четвертую ночь путевые обходчики на глухих полустанках постукивали молотками по колесам, матерясь при этом по-казахски, и меня разбирала некая подспудная гордость: я понимал эту речь, разбросанную от края света и до края. Днями же тамбуры и проходы вагонов наполнялись все той же казахской речью, только теперь женской да детской: на каждом

полустанке входили все новые и новые продавцы или, вернее, продавщицы то верблюжьей шерсти, то вяленой рыбы, а то и просто сушеных катышков кислого молока — курта.

Давно это, правда, было. Сегодня, может, уже не так, не знаю. Хотя вряд ли.

Итак, я стоял в тамбуре, глядя на скучную и однообразную — вот уже четвертый день — степь, когда в противоположном конце вагона появился мальчишка лет десяти-двенадцати со скрипкой в руках. И вдруг он начал играть на ней, да так удало и умело, что вмиг пораздвигались все двери купе и повысовывались головы заспанных пассажиров. Играл он не какую-нибудь цыганщину или же местный колорит, нет, играл он Брамса, знаменитый “Венгерский танец”. Причем играл на ходу, двигаясь вдоль вагона в мою сторону. И вдруг, когда весь вагон поразевал вслед рты, он прервал музыку на полуноте, сбросил скрипку за плечо, как винтовку, чтобы толстым, недетским голосом прокричать: “Местный напиток — полная органика!”. Сбросил с другого плеча холщовую сумку и вытащил огромную пластиковую бутылку то ли айрана, то ли кумыса, и я тут же бросился к нему, еще не зная зачем.

— Пацан, — сказал я, — почему твой кумыс?

— Во-первых, кумыс не мой, а лошадиный, потом это не кумыс, а айран, и, наконец, я не пацан! — ответил мальчишка беспримесным русским вызывающе-толстым голосом.

— Ну, не девчонка же ты! — как-то нелепо попытался я разрулить нештатную ситуацию.

— Я не баба, а мужик! Хошь испытать? Снимай рейтузы! — опять огрызнулся подросток на весь вагон.

Я не знал, сердиться ли на его грубость или же пойти на мировую и попытаться понять, отчего он такой ершистый; как бы то ни было — это его земля, здесь он хозяин, и я, смягчив свой тон, сказал:

— Я тебя чем-то обидел? Тогда прости... А Брамса ты играешь, как бог...

— А что меня обижать? Я сам кого хочешь обижу... Никакой я не пацан. Не смотри на мой рост, мне 27 лет. Понял?! — уже снизив голос до полупшепота, произнес он.

И тут я и впрямь опешил...

* * *

Вот такое начало у этой истории. Как я сказал, выглядел он абсолютно нормальным мальчишкой 10—12 лет: никаких аномальных черт, по которым можно различить лилипута или карлика — никакой несоразмерности членов, никаких тебе возрастных морщин на лице, ничего такого.

Разумеется, я поначалу не поверил, и это было видно по моему лицу.

— Ну, на, посмотри мой паспорт, — заученным движением вынул он из внутреннего кармана документ.

Пока он продавал свой айран восхищенным теткам (“А где ты научился так играть? А “Очи черные” можешь? А “Катюшу?”), я как дурак всматривался поочередно то в документ, то в его лицо: все сходилось, с фотографии на меня смотрело неиспорченное детское лицо.

— Как вас зовут? — улучив минутку, растерянно и беспомощно спросил я.

— Ержан, — бросил он и ткнул пальцем в паспорт.

— Можно и я куплю... твой... то есть айран, — как-то извинительно и нелепо пролепетал я, и он, забирая свой паспорт, ответил:

— Брамс, говоришь? Последняя бутылка, забирай, все продал...

Мы зашли в купе за деньгами, и, поскольку старик напротив меня беспробудно спал, я предложил Ержану присесть: дескать, в ногах правды нет...

— А где она есть? — опять колюче спросил он, причем вопрос, казалось, был обращен не ко мне, а к этому поезду, пилящему по степи, к этой степи, сгорающей на земле, к этой земле, скитающейся среди света и тьмы, к этой тьме, что...

Часть первая

До

Родился Ержан на полустанке Кара-Шаган Восточно-Казахстанской железной дороги в семье своего деда Даулета-темиржола, путевого обходчика, одного из тех, кто по ночам стучат молотками по колесам да тормозным колодкам, а днями — вслед редкому телефонному звонку от диспетчера — выходят передвигать стрелку, когда какой-нибудь усталый товарняк пережидает, пока пронесется через полустанок какой-нибудь скорый или литерный пассажирский поезд наподобие нашего.

Хотя и родился Ержан в семье у своего деда, в метрике его под графой “Отец” стоял жирный прочерк, и значилась одна лишь “Мать” — Канышат — дочь Даулета-Темиржола, жившая тут же — на полустанке, называвшемся всеми почему-то “точкой”, в одном из двух железнодорожных домов, в котором кроме деда да матери с Ержаном жила еще и бабка Улбарсын да ее младший сын Кепек-нагаша. Во втором пристанционном доме жила семья сменщика деда Даулета — покойного Нурпеиса, угодившего под внештатный поезд: вдовая бабка Шолпан-шеше, ее сын Шакен с городской невестой Байчичек и их дочь Айсулу, что была на год младше Ержана.

Вот и все население Кара-Шагана, если не считать с полусотни овец, пяток коров, трех ишачков, двух верблюдов да коня Айгыра на обе семьи. Правда, был еще пес Капты, который жил большей частью у Айсулу, и потому Ержан не держал его за своего, как не принимал он в расчет и выводка пыльных кур с парой горластых петухов, поскольку те размножились и убывали непонятным образом, так что никто из карашаганцев никогда не знал им счета.

Я сказал о размножении непонятным образом. Дело в том, что мать Ержана, Канышат, понесла его бог весть от кого и бог весть как. Отец тогда ее проклял, и все, что знал Ержан со слов своей бабки Улбарсын, — это то, что в шестнадцатилетнем возрасте Канышат побежала в степь за шелковым платком, который сдул ветер, а тот, будто дразня, заманивал ее все дальше и глубже, по направлению к закату солнца, а дальше шло уже нечто сказочное, из чего Ержан

никак не мог вывести смысла: вдруг то самое заходящее солнце взмыло обратно в небо, по земле от горизонта пошла дрожь, внезапно свистящий ветер осекся на мгновение и со всего размаху пустился обратно, поскольку за ним с небывалым гиком, вздымая степную пыль до небес, несся черный ураган, и когда Канышат, ни жива ни мертва, обнаружила себя на дне оврага, над ней, исцарапанной и окровавленной, стояло некое существо, похожее на пришельца, — в скафандре и неземной одежде.

Словом, тогда и зачала Канышат, и спустя три месяца, когда ее беременность стала явной, Даулет-аке жестоко избил и проклял ее, и если бы не Кепек и Шакен, оттащившие старика от полумертвой дочери, не жить бы на этом свете ни Канышат, ни ее сыну Ержану...

Но с тех пор Канышат не проронила ни слова.

* * *

И хотя мать с тех пор не проронила ни слова, женщинам, и особенно двум бабкам — Улбарсын и Шолпан, как говаривал дед, дай только посудачить. Ержан помнит, как лютыми зимними ночами, когда свистящая поэмка прорывалась сквозь все щели в окна, он забирался под верблюжье одеяло к бабке, и та рассказывала свои бесконечные сказки.

— На девятом небе у Тенгри растет священное дерево — Кайын, на ветках которого, словно листик, висит кут.

— А что такое кут? — спрашивал все еще дрожащий Ержан, удивляясь сходству этого слова со словом “кет” — “зад”.

— Это счастье, это когда тепло и сытно, — отвечала бабка и продолжала свой нескончаемый шепот: — Когда тебе предстояло родиться, твой кут упал с этого дерева в наш дом через дымоход. Все по воле Тенгри и матери нашей Умай. Кут упал в живот твоей матери и принял в ее утробе вид красного червячка...

— Ты *ego* вычесываешь из моего зада?

Бабка всхохатывала и той же морщинистой рукой, которой только что чесала его попу, дабы уберечь мальчика от глистов, шлепала его по щечке:

— Болтун ты маленький, спи, а то Умай-матушка рассердится и отнимет твой кут!

В другую ночь он оставался у бабки Шолпан из-за сладенькой Айсулу, которой он уже надкусил ухо, чтобы впоследствии жениться; теперь уже Шолпан-шеше рассказывала ему о его рождении, вплетая сказку о сыне Тенгри — Гесере.

— Тенгри послал Гесера на землю, в одно степное государство, где не было правителя.

— Это к нам, что ли? — тут же встречал Ержан, но Шолпан-шеше осекала его одним лишь лукаво-страшным взглядом и продолжала.

— Чтобы никто не узнал его, Гесер сошел на землю безобразным сопливым мальчишкой, таким, как ты! — и тут бабка Шолпан ущипывала Ержана за нос. Ержан на это хныкал, и тогда, боясь разбудить спящую в люльке Айсулу, бабка отпускала его нос, принимавалась ласково ко лбу и продолжала свой сказ:

— Только вот Кара-Чотон — такой же дядя, каким тебе приходится Кепек-нагаши, узнал, что Гесер не простой мальчишка, а божественного происхождения, и стал преследовать его, чтобы уничтожить племянника, пока тот не вырос. Но Тенгри всегда спасал Гесера от злых проделок Кара-Чотона. Когда Гесеру исполнилось двенадцать лет, Тенгри послал ему лучшего на земле скакуна, и Гесер выиграл

байгу — скачки за обладание красавицей Урмай-сулу и завоевал трон того степного государства.

— Казахст... — начинал было Ержан, но, увидев острые глаза шеше, тут же смолкал. Та продолжала:

— Но недолго наслаждался храбрый Гесер своим счастьем и покоем. С севера на его страну напал страшный демон Лубсан. Правда, жена людоеда Лубсана — Тумен Джергалан влюбилась в Гесера и выдала тому тайну своего мужа. Гесер воспользовался тайной и убил Лубсана, тогда Тумен Джергалан напоила его напитком забвенья, чтобы привязать Гесера к себе. Гесер выпил напиток, забыл про свою любимую Урмай-сулу и остался у Тумен Джергалан.

Между тем в степном государстве поднимается смута и Кара-

Чотон женится насильно на Урмай-сулу. Но Тенгри не оставляет Гесера и избавляет его от наваждения у самого Мертвого озера, где он видит отражение своего волшебного коня. На этом коне он возвращается к себе в степное государство и разбивает Кара-Чотона, освобождая свою Урмай-сулу...

Правда, к этому времени согретый за теплой пазухой бабки Шолпан Ержан уже сладко спал, видя окончание этой сказки, рассказывавшей о его предстоящей жизни в своих пушистых детских снах...

* * *

Степные дороги — будь они даже железные — долги, однообразны, и коротать их приходится лишь разговором. Рассказ Ержана тек, как провода в окне поезда — от столба к столбу, от столба к столбу, и, казалось, стук колес придавал его рассказу такт за тактом, такт за тактом. Так и глубокое детство он вспоминал как безостановочную беготню из своего дома к дому Айсулу, нет, не только поглядеть на безъязыкую красавицу, которой он надкусил ухо в знак ранней помолвки, но чаще всего ради блестящих железок Шакена-коке, тех, что он привозил со своей вахты, на которой пропадал месяцами. Работал он где-то в степи, но об этом речь впереди. Как впереди речь и о телевизоре, ради которого Ержан бегал опять же к Шакену-коке, после того, как тот однажды привез из города это чудо, поглотившее их с тех пор навсегда.

* * *

А до того... До того:

— Бабкам дай только помолоть языком! — говаривал дед, привязывая весенними днями малыша пояском к спине и взбираясь на пепельного коня. Они скакали галопом в степь, туда, за железную дорогу, которую дед оставлял на попечение своему сыну Кепеку. Они скакали молча по влажной и разбухающей травой и тюльпанами

степи, скакали, казалось, просто так, и ветер, еще холодный по бокам, обжигал трескающиеся щеки Ержана.

Однажды они доскакали до оврага и до холмов, редко рассыпанных за оврагом, и дед только бросил:

— Вот здесь мы тебя и нашли, улым...

А там, за оврагом, с шумной весенней речкой на дне, за деревянным навесным мостом Шайтан-копрюком росла по всей степи колючая проволока, и дед, лишь махнув в ту сторону своей камчой, да осаживая своего распарившегося скакуна, сказал непонятное слово: “Зона!” — и в ушах малыша зазвенела муха, а точнее, овод, что кружится ленивыми днями над их коровами — овод, обернувшийся вдруг звонким именем “Зона”...

Так появился в жизни Ержана этот овод, жужжавший своей непонятностью над его детским воображением. И там, оказывается, работал на своей вахте дядя Шакен.

* * *

И хотя дед Даулет называл бабок болтушками, но та сказка о Гесере запала Ержану в душу не меньше, чем игра деда на домбре, и пока бабка Улбарсын готовилась вымыть мальчишке голову кислым молоком, Ержан выпрашивал ее о признаках Гесера: дескать, а как его узнать? Бабка то ли для того, чтобы отвязаться от верткого внука, то ли чтобы успокоить его на час-другой, бросала:

— Когда Гесер был безобразным и сопливым мальчишкой, у него не было шошака — пиписьки.

И пока его бабка выщипывала на весеннем солнце всякую мелкую живность, забившуюся в швы его трусов, запомнивший ее слова Ержан убежал за соседний дом к Айсулу, где вместе с этой двухлетней рассматривал поочередно то свою исчезающую, но сморщенную пипиську, то завидное отсутствие этой самой пиписьки у сопливой Айсулу.

С тем же рвением он следил за своим ленивым дядькой Кепеком-нагаши — не начнет ли тот преследовать его до смерти. Но тот большей частью валялся на единственной во всем доме железной

кровати, заменяя ночами своего стареющего отца на стрелке или же на обходе ночных составов с наследственным молоточком.

Иной раз он приходил к утру вдрызг пьяным и начинал ни с того ни с сего переворачивать весь дом с ног на голову, ругаясь и матерясь, и хотя Ержан, разбуженный охающей и ахающей бабкой, был уже готов к коварным преследованиям своего Кара-Чотона, но тот все больше кричал, что уедет отсюда навсегда, что все ему здесь обрыдло, е...ть он хотел эту вонючую жизнь! — и, вскакивая на отцовского пепельного коня, мчался в необъятную степь, где вместе с рассеивающейся тьмой пропадали его голос, фигура, гнев...

* * *

Я сказал, что мальчишке запало в душу не только бабкино сказание, но и дедова домбра. Да настолько, что он без спросу стал снимать ее с высокого гвоздика на стене, пока дед ходил колотить молоточком по своим вагонам, и принимался тренькать, изображая насупленного деда с его хриплым голосом. Очень скоро он начал улавливать какие-то знакомые мелодии, а потом, как отслеживал поведение своего нагаши Кепека, так же стал отслеживать игру своего деда на домбре, и на следующий день в его отсутствие, пока бабка болталась у Шолпан-шеше, рьяно повторял тот самый бег пальцев по шейке домбры. Очень быстро и незаметно он научился чуть ли не всему репертуару деда Даулета, но застукал его за этим делом не дед, да и не бабка, а нагаши Кепек, опять завалившийся не в свою комнату по пьянке. Как он целовал каждый палец мальчишки, как облизывал их пьяными слюнями: “Ай, кара кюш! Ай кара таус!” — “Ай, неземная сила! Ай, неземной звук!” — качал он своей буйной головой. В тот вечер чуть отрезвевший Кепек собрал обе семьи перед домом и, вызвав из двери своего племянника-трехлетку, объявил его концерт. Свой первый в жизни концерт Ержан дал, сидя на пороге своего дома.

* * *

Правда, расчувствовавшийся дед тут же перенастроил свою домбру с правой настройки на левую¹, так, чтобы мальчишке было легче петь, и кроме того, каждый вечер стал теперь специально заниматься с Ержаном, вспоминая забытые старинные мелодии и жиры — древние песни. За три месяца Ержан освоил все то, что дед накопил за всю свою жизнь. Мальчишка впитывал всю вековую мудрость казаха, сохраняемую в песнях, как степная земля впитывает весенние дожди, превращая их в зеленый жузгун и терескен, да в алые маки и тюльпаны.

*Бийик тауха жарасар
Ыхынан тиген панасы.
Терен сайха жарасар
Тобылгалы саласы.*

*Высоченной горе идет
Тень, падающая от нее.
Глубокой речке к лицу
Берег, покрытый таволгой.
Мужественному джигиту идет
Копье, взятое в руки.
Богатому джигиту к лицу
Польза, что он приносит людям.
Аксакалу к лицу
Благословение тех, кто его окружает.
Богачке идет
Ее бурдюк с кумысом.
Невестке к лицу
Ее грудной младенец.
Когда девчушка достигает пятнадцати лет,
Сплетен вокруг нее больше, чем у нее косичек.
Единственный, кто виноват в этой лжи, —
Белая ворона среди родни².*

¹ С кварты на квинту.

² Здесь и далее подстрочный перевод автора.

Слушая эти песни четырехлетнего Ержана, Шакен-коке, любитель повторять одну и ту же фразу: “Мы не только догоним, но и обгоним американцев!” — вдруг привез ему в подарок с очередной вахты не блестящую железку и не стеклянную колбу, а что-то похожее на домбру, но в тысячу раз более аккуратное и блестящее, то, что он назвал неказахским словом “скрипка”.

* * *

И струн на ней было не три, а четыре. Первые дни Ержан попробовал играть на ней как на домбре, но звук был какой-то глухой и зажатый. Правда, потом Шакен-коке вынул из своего портфеля еще и палку—не палку, камчу—не камчу, которую назвал “смычком”, и вручил ее Ержану, чтобы тот играл себе на здоровье на настоящей скрипке. “Дай, покажу!” — сказал он и стал тереть ту самую палку о струны, но те не издавали никакого звука. Тогда дед рассмеялся и, сказав хитро: “Всему нужна смазка!” — пошел искать в своих закромах эту самую смазку, которая оказалась чем-то вроде засохшего древесного клея или воска. Он взял в руки и скрипку, и смычок, обмазал их, и вдруг, когда прикоснулся смычком к струнам, они и впрямь заскрипели. “Дай! Дай! Коке привез ее мне!” — выхватил скрипку Ержан и стал извлекать звуки из всех четырех струн. Он извел в тот день всех домочадцев, но, разумеется, никакой музыки у него не получалось. Ближе к вечеру бог весть откуда, напившись, пришел домой Кепек-нагаши и, увидев племянника со скрипкой, вдруг заплакал и сказал: “Я знаю болгарина-скрипача! Правда, он педик! Но завтра же поедем к нему!”

* * *

Не кто иной, как нагаши и усадил на следующий день Ержана с собой на верблюда и двинулся наперерез железной дороге в степь. Они ехали долго, пока не приехали к каким-то вагончикам, экскаваторам, всякой технике. Чем тут люди занимались, не совсем

понятно, железной дороги рядом не видно, а всякого железа навалом. Они слезли с верблюда и, привязав его к одинокому кусту тамариска, зашли в один из вагончиков. Там в прокуренном помещении сидело несколько человек, играя в какую-то шумную игру, и видя, как закашлялся Ержан, Кепек-нагаши быстро вызвал оттуда человека и впрямь по имени Петко, чтобы вывести племянника опять наружу. Петко вышел не скоро. Это был невысокий человек с очень быстрыми глазами и блеющим голосом. Кепек-нагаши заговорил с ним на чужом языке, которого Ержан тогда еще не понимал, но несколько раз он произнес слово наподобие “таланы” — дескать, “из степи”, указывая на своего “жиена” — племянника. Петко под зорким и неусыпным взглядом Кепека пощупал руки Ержана, его предплечья, плечи, как казахи ощупывают жеребца или ягненка, потом стал что-то невнятное спрашивать. Ержан пытался докопаться или, вернее, догадаться о смысле его слов: “Кокте би захип” — “В небе танец слепца”: — спрашивает ли этот дядя о какой-то песне? Но тут приходил на помощь нагаши: “Атын калай?” — “Как тебя зовут?” “Атым Ержан”, — отвечал Ержан. Словом, повел Петко Ержана с Кепеком-нагаши в крайний вагончик, взял в руки скрипку, принялся к ней, потом попробовал смычок на язык и, спросив что-то у Кепека, расхохотался. Он хохотал долго, тем временем очищал чем-то едким на запах и струны, и смычок, потом достал нечто похожее на древесную смолу и стал то мелкими кругами, то крупными движениями водить ею по смычку.

Когда он заиграл на скрипке, звук ее был столь чист, что даже слепец увидел бы в синем небе танец чистого воздуха, ясного солнца, белоснежных облаков, радостных птиц...

Это был первый урок.

* * *

Не прошло и пяти занятий (добрейший Петко без особых объяснений играл на своей скрипке, а Ержан лишь повторял его движения да заучивал черных и белых птичек, сидящих на проводах и названных совсем уж немзыкальным Кепеком-нагаши “нотами”), как

ревнивый дед Даулет решил взять Ержана с собой и с домброй в город Семей: дескать, покажу его настоящим мастерам-жирау. Ехали они в товарном вагоне, в котором по станциям развозили железнодорожный буханочный хлеб. Друг деда Толеген раздавал на каждом полустанке замерзшие буханки, а они с дедом лежали в глубине вагона на толеновских толстых тулупах, глядя то на лес рук, тянущихся за хлебом к вагону, то на кружащуюся вокруг них огромным мельничным жерновом степь, по которой сыпалась обильная мука снега.

Там, в дороге, где бежали в обратную сторону столбы и летели по дуге провода, дед с Толегеном опять стали махать руками в направлении степи с колючей проволокой, и Ержан опять услышал то звонкое, забытое звучание: “Зона”, и опять жужжащий овод закружил над его сознанием, приснившись ночью роем музыкальных нот и разбудив его утром огромной жужжащей мухой, то кружащей над ним, то сидящей бесстыдно на носу...

Старики уже пили свой чай с сухим молоком, макая в него горбушку последней непроданной буханки. Поезд стучал по мерзлым рельсам. Из чуть приоткрытой двери вагона несло свирепым степным морозом. И вдруг, словно по велению этой огромной мухи, все тени в вагоне резко сдвинулись вбок, потом гул, сильнее, чем жужжание этой мухи в самое ухо, страшнее, чем грохотание вагона и пустых металлических ящиков из-под хлеба, вдавился в ушные перепонки, и весь вагон пошел плясать вместе с рассыпавшимися ящиками. Старики пропали в щели просвета, муха закружила землю под ногами, а вместе с ней и вагон, и то ли ее мохнатые лапы, то ли толстые тулупы дяди Толегена поволокли мальчишку неведомо в какую мохнатую и гремучую темноту...

Зона! — так он запомнил тот мушиный день, когда развороченные ее крыльями вагоны валялись в степи, а дед Даулет и окровавленный дед Толеген, спасшие ребенка из ее мохнатых лап, укутывали его в тулуп и плакали своими скупыми старческими слезами...

Так и не доехали они тогда с дедом до Семей. Видать, не судьба была выучиться у великих мастеров-жирау. На дрезине,

напоминающей одновременно и маленький тепловоз, и жилой вагончик, их повезли обратно в Кара-Шаган. Степь на обратном пути была хмурая, как лица людей вокруг них: свинцовые тучи неслись по небу без дождя и снега, какие-то полые — ни гром не гремел в них, ни молния не сверкала. Было странно, как быстро мчатся тучи, тогда как на земле воздух был стоячий, и даже скорость дрезины не раскачивала его.

Через день они были уже дома, без городских подарков, с пустыми руками. Правда, люди с дрезины оставили им несколько буханок железнодорожного хлеба и мешок российской картошки и уехали дальше в степь по своим непонятным делам. Уехать-то они уехали, но небо не светлело после них несколько дней, и никто не выходил на улицу, кроме самого деда на редкий поезд, даже писать все ходили в медный тазик, который изредка выплескивал из своего окна Кепек-нагаши, как всегда матерясь и проклиная всех.

Моча их покраснела, словно бы от стыда, особенно у Ержана. Женщины, как водится, тараторили об “акыр заман” — конце света, дед же, когда не спал, крутил ушко своей маленькой радиолы, ловя то писк, то свист, то шипение, а потом какую-то странную казахскую речь, которая то и дело повторяла непонятное слово, похожее на имя Толеген: “Взрыв, Толигон”.

Погиб, что ли, дедовский друг Толеген? Только почему тогда дед не вскочит на своего пепельного коня и не поскачет на его поминки, как он делал всегда, когда умирали люди?

* * *

Просидели они все эти дни в доме без всякого дела, даже музыкой мальчишке не давали заниматься. Наконец, на четвертый день, когда обе семьи опять собрались вместе в одном доме и дед Даулет зарезал на “кудай” барана, которого тут же разделали, сварили и съели, тот же дед после еды обильно рыгнул и, взяв одну из костей барана, положил ее на колени Байчичек. “А теперь покажи, что ты все еще джигит!” — предложил он Шакену-коке, и тот, встав со своего места, сложил руки за спиной. Дед их связал пояском, и тогда Шакен-байке подошел к

своей жене и, не сгибая колен, стал нагибаться под всеобщее улюлюканье, чтобы схватить зубами ту кость. То же самое сделал следом Кепек-нагаши, подняв кость с колен своей молчаливой сестры Канышат. Потом ту же самую кость положили на колени трехлетки Айсулу и заставили под всеобщий смех Ержана нагибаться за этой костью. Нагнуться-то Ержан нагнулся, да, видать, съел слишком много сухого мяса, так что в минуту, когда кость оказалась в его зубах, он оглушительно и продолжительно пукнул на весь дом. Вот было смеху-то!

“Бомба!” — кричал из-под морщин дед. “Атомная!” — добавлял ученый Шакен-коке и прибавлял: “Как пить дать не только догоним, но и обгоним американцев!” “Сейчас и ракета пойдет!” — не упускал своего шанса сострить и Кепек-нагаши.

Так они разделались с тем взрывом.

* * *

Тем летом Ержана как уже выросшего мальчишку Шакен-аке взял на выпас общего стада в пойму реки, куда его самого брал раньше дед. Трава там была все еще зеленой, и скот разбрелся по дну широкого оврага во все еще свежее, невыжженное раздолье. По оврагу реял запах прохлады, и после жгучего даже поутру, голого степного солнца тень тамарисков и саксаула прихватывала и остужала капли вязкого пота на их горячих лицах. Пес Капты бегал, высунув свой огненный язык, и сбивал разбредающееся стадо в управляемую кучу, и потому Шакен-аке с Ержаном, привязав коня к основанию дальнего куста, легли на забыто-прохладную землю.

Через час-другой, оставив стадо на попечение беспокойного пса Капты, они сели на коня и поскакали по стремнине в ту сторону, где степь окружала колючая проволока. Шакен-аке, видать, знал дорогу, оврагами да ярами они оказались в той самой Зоне, которая оводом терзала все эти годы мальчишеское любопытство Ержана. Сидя за спиной дяди Шакена, он озирался со всем рвением по сторонам, но степь была как степь: маленькое, колючее, как гвоздь, солнце в бескрайнем усталом небе, выжженная стерня и неподвижно-гудящий,

стоялый воздух между ними. Правда, земля здесь была немного краснее, да пыль под копытами коня чуть толще обычного.

Они скакали долго, Шакен молчал всю дорогу, как будто прислушивался к звукам степи, и только когда солнце осталось за спиной, вдруг сказал: “Караша, газ...” — “Смотри-ка, гусь...” Ержан вытянулся вбок, чтобы увидеть живность, а может быть, и озеро, но впереди из земли тянуло вверх бетонную шею некое странное сооружение, подобное тем, что дед на Толегеновском поезде называл “элеваторами”. Поодаль в низких лучах солнца темнели другие, непонятные сооружения.

С полчаса они скакали до того не гуся, но “журавля” — огромной бетонной глыбы, скореженной наполовину, как будто оплывшей набок. Ержан глядел изо всех глаз, но Шакен-аке не стал задерживаться, а направил коня иноходью к тем, другим строениям, оказавшимся развалинами домов.

Хоть и мал был Ержан, но он видел в степи развалины казахских кочевий и кладбищ: округлых, как будто бы время и природа, жалея, мало-помалу срезали им углы и выступы. Эти же строения будто обломали на ходу, на лету, рамы торчали наперекор стенам, стены вспарывали крышу, крыши вонзались в фундамент. Никогда Ержан не видел ничего более страшного и похожего на то, что его бабка Улбарсын описывала словами “акыр заман” — конец света...

— А Айсулу видела это? — спросил он тогда со страхом у Шакен-аке. Тот помотал головой и добавил, как и всегда: “Если мы не только не догоним, но и не обгоним американцев, весь мир будет таким!”

* * *

Шакен-коке часто обсуждал с дедом Даулетом третью мировую войну, к которой он так усердно готовился на своей вахте. Из-за этих разговоров, неизбывного ли страха перед Зоной или вида последнего мертвого города — Ержану то и дело стала сниться та самая третья мировая война: она, как правило, появлялась с неба, синего и спокойного, — то какие-то самолетчики вдруг начинали атаковать

американский бомбардировщик, то ночные звезды врассыпную бегали по ночному небу, но всегда эти сны кончались свинцовым небом, гулом, от которого выла скотина, внезапным ярким сполохом и ядовитым грибом, встающим над землей как албасты³.

Вот опять: высокое небо и бумажные самолетики, тянущие за собой овечий пузырь грибовидного облака. Непонятные — через рупор — слова Шакена-коке: “Паника американизма — все с неба — ведь сказано в сказке об акыр замане: и сошествие бомб на землю, как излияние геенны огненной”. И дальше Шакен-коке продолжает, как радио: “И только земли нам бояться нечего — отсюда подвоха нет — черная, как мать в трауре, каждого обнимет и внесет в свое чрево — родившее — опустевшее и воспаленное...”

Мы путешественники — и над нами небо во вражеских самолетах”.

Ержан просыпался и видел, что дед и Шакен-коке так и не закончили своего спора о третьей мировой войне.

* * *

Поезд шел по бесконечной казахской степи, и провода на столбах с их пустельгами да сайками, жаворонками да сизоворонками и еще бог весть с какой летучей живностью плыли вослед от столба к столбу, от столба к столбу, как ноты неведомой музыки от такта к такту, от такта к такту. Разговорившийся мой собеседник плюнул на свои коммерческие обязанности и, договорившись с проводником, ехал уже рядом с нами в свой дальний Семей. И поезд, и вагон жили своей обычной жизнью, я где-то уже описывал эти поезда. Мой сокупейник — старый казах — проснулся, но, не оборачиваясь в нашу сторону, продолжал, побряхтывая, лежать на боку и, видать, тоже вполуха слушал то, что рассказывал о своей жизни Ержан.

Мы выпили по стакану железнодорожного чаю — любезность проводника, заполучившего наличного пассажира в карман, и Ержан продолжил свой рассказ.

³ Джинн.

* * *

Мальчишка не по дням, а по часам обучался не только музыке, играя уже к лету этюды Крейцера, Мазаса и Роде, но и русскому языку, правда, с неким болгарским привкусом, который сохранился у него до сих пор. Так, время от времени он приговаривал: “Ти що?” — как бы испытывая реакцию слушателя. Кепек-нагаши хоть и замечал, что теперь эти двое вполне обходятся без его переводов, не в лад, невпопад, все же умудрялся вмешиваться: то протянет жиену свой засморканный платочек: дескать, подложи его под подбородок, то выхватит в перерыв смычок из рук Ержана и оборвет с каким-то особым усердием лопнувший волос. Но как бы то ни было, он никогда не оставлял своего племяша-четырёхлетку с Петко наедине в ПМКовском степном вагончике.

Поначалу Ержан научился понимать лишь музыкальные окрики Петко: “Верхний смычок! Смычок идет вниз! Третий палец! Вторая струна! Сильней звук! Плавное движение!” — эти фразы снились ему вместе со звуками скрипки, округляясь в разноцветные ноты. Никогда его сны не были так веселы, ноты ходили, как человечки — эта толстая и важная, с огромным пузом, эти же — тонконогие и семенящие, они сливались в яркие картины: когда нарочно давишь на глаза, и разноцветная капуста начинает распускаться под кулачками, так же эти картины расплывались перед ним каждую ночь. И чтобы поделиться с Айсулу этими картинками, он подбирался к ней сзади и крепко-крепко давил ей на глаза, приговаривая на непонятном языке: “Какаяэтонота? Звукострее! Пальцыпальцыпальцы! Гдесмычокближекмостику!”

* * *

Он все лучше и лучше понимал по-русски, а еще и расспрашивал долгой дорогой своего нагаши, который как-никак отслужил в Советской Армии, о том или ином слове, заучивая его наперед, на всякий случай. Правда, как оказалось, язык, выученный Кепеком в

армии, был далеко не музыкальным: “Че ты пердишь из жопы?” — говорил он, когда малыш начинал гаммы с четвертой струны, или, заметив в кармане жиена металлическую коробочку канифоли, которую Петко положил перед уходом, он спрашивал: “Зачем спиздил это?” Всякий раз, когда хваткий Ержан пытался употребить заученное дома выражение в разговоре с Петко, тот, любовно взиравший на мальчугана, давился смехом, приговаривая: “Ну, ты даешь, малыш!”

Так и осталась в сознании Ержана эта фраза как высшая, самая веселая похвала, и он точно так же похлопывал по спинке свою Айсулу и восклицал: “Ну, ты даешь, малыш!”

* * *

Однажды, пользуясь тем, что это все-таки он купил скрипку Ержану, а не Кепек-нагаши (который несколько раз исковерканно повторил это самое имя — Педик, Педик), на урок музыки мальчика повез Шакен-коке. И вместо урока — дескать, ты тут попиликай сам, — они проболтали с Петко чуть ли не три часа, и потом уже, когда Шакен-коке за ужином рассказывал всему семейству, кто же такой на самом деле Петко, Ержан узнал, что тот, оказывается, кончил Московскую консерваторию (еще одно непонятное слово в русско-музыкальный лексикон Ержана) у самого Ойстраха (“Ой, страх!” — приговаривала всегда городская женге — невестка Байчичек, когда пугалась чего-либо, и сейчас она не преминула сплунуть себе за пазуху, выкликнув это самое: “Ой, страх!”). “Он тебе не калам-балам!” — заметил тогда Шакен-коке, правда, так и не узнавший, почему же Петко оказался здесь, на ПМК, в семи километрах от Кара-Шагана.

Когда Ержан в следующую поездку рассказал все это Кепеку-нагаши, тот лишь махнул рукой: — Шакен не знает ни хера!” — “Мен билем! — Я знаю!” — но говорить, почему Петко оказался здесь, посреди казахской степи, он не стал.

* * *

А раз, узнав, что на ПМК есть душ, в дорогу на музыкальный урок собрался и дед Даулет, который все еще ревновал своего внука, изменившего со скрипкой его домбре. Было знойное лето, пот тек по его морщинистой шее и расходился кислым запахом. Все это чуял сидевший за его спиной Ержан. А потому, как только приехали к уже отработавшему свою смену и чисто причесанному Петко, вместо скрипичного урока они полезли сразу же под душ. Там, за брезентовой оградой, дед хоть и не снимал своих подштанников, но пока он тщательно тер голову, сморщенный мешочек коричневых яиц выглянул наружу, и неугомонный Ержан, весь в брызгах дедовского мыла, тут же спросил: “Ата, неге сенде еките жумуртка?” — “Дед, а почему у тебя два яйца?” Дед поначалу растерялся, стал тут же подтягивать подштанники, но все же ответил: “Вот у меня двое детей, поэтому и два яйца”. — “А у Шакена что, тогда одно, да?” — воскликнул удивленно малыш. “А у Кепека, получается, нет, да?”

Дед не знал, что ответить, и только брызгал водой...

* * *

Дед так прикипел к Петко тогда, что ранней осенью вызвал его через Кепека на лисью охоту. Дед Даулет, как рассказывал Кепек-нагаши, прежде держал охотничьего беркута, который из годовалого балапана вырастал в кантубита, тырнека, тастулека, и вплоть до двенадцатилетнего шогела⁴. Дед теперь называл Ержана “музбалаком”⁵; узнав эту историю, Ержан понял, что его прозвище не имеет ничего общего с музыкой: дед использовал имена своего беркута. С рождением внука птица то ли умерла, то ли была отпущена на волю, а может быть, дед попросту счел, что в его семье вылупился новый беркутенок. Словом, ежегодная охота в тех тугаях, где был зачат Ержан, приказала долго жить вместе с пропавшим из дедовской жизни беркутом.

И вот теперь в честь “музбалака” и его учителя дед решил вывести все мужское население Кара-Шагана на лисью охоту. Кепек

⁴ На каждый год жизни охотничий беркут имеет свое специальное название.

⁵ Беркут-пятiletка.

рассказывал, как легко они охотились в прежние времена: Капты выгонял лисицу из норы, а беркут хватал ее с воздуха. Но на этот раз дед решил взять лису живьем — старинным способом. Уговор был таков: как только Капты вынюхивает и выгоняет лисицу из норы, а та, чтобы отвлечь собаку от своих еще не окрепших детенышей, побежит, запутывая следы, дед Даулет вместе с Петко и Ержаном-музбалаком станут гнать ее по степи так, чтобы низкое солнце оставалось у них за спиной.

Затем Шакен-коке, который будет поджидать их на расстоянии крика, увидев лисицу, выскочит сбоку и резко развернет погоню в сторону от солнца, то есть даст лисе “калтарыс” — поворот на 90 градусов. Затем его сменит Кепек, который, увидев лису, тоже выскочит на коне со стороны и развернет погоню еще на 90 градусов, так, что солнце будет теперь светить прямо в глаза хитрой лисице. Тем временем дед, Петко и музбалак с гиканьем и воплями выйдут на этот раз не сбоку, а навстречу, лицом к лицу, и... Ержан с уважением посмотрел на двустволку деда.

Все произошло, как и распланировал дед. Капты с ворчанием выковырял лисицу из норы, она бросилась было в сторону солнца, но дед заулюлюкал так, что лисица на мгновение застыла, потом, сообразив, бросилась мимо Капты в обратную сторону и гон начался. Капты летел во всю прыть, не успевая гавкать, зато дед улюлюкал на всю степь. Привязанный поясом, Ержан сидел за его широкой спиной, а то уж точно бы оглох. Петко тоже сверещал на чужом, взятом напрокат коне. Так продолжалось минут пять, пока дед не одернул своего коня, и теперь Ержан не только услышал, но и увидел, как Шакен-коке дал лисе тот самый “калтарыс” — разворот, и та понеслась вбок от них. Растерянный Капты на мгновение было остановился, но дед гаркнул: “Бас!” — “Дави!” — и пес, гавкнув наконец во всю грудь, рванул в новом направлении.

Маленькими точками пересеклись Шакен-коке и Кепек-нагаши — и тут же исчезли из беркутовых глаз мальчика: дед развернул коня в направлении от солнца. Зато шум погони стал приближаться и нарастать. “Ата, корейши! Ата, корейши!” — “Дед, дай глянуть!” — что было сил закричал Ержан, и тогда дед каким-то неуловимым

движением, не снимая пояса, развернул его, усадил прямо перед собой и слегка дернул уздечку, чтобы конь склонил голову набок, открывая Ержану вид на степь. Так, наверное, он обращался со своим беркутом, — не без гордости за деда подумал Ержан.

Лисы в степи он не видел, но видел скачущего с гиком и улюлюканьем Кепека-нагаши, а потом чуть впереди заметил и выцветший клубок Капты. Ближе, еще ближе, еще ближе, и вдруг Ержан углядел пыльную точку, несущуюся в их сторону: “Ата, ата, керши!” — “Дед, смотри!” — сердце его затрепыхало между азартом и жалостью, сейчас дед достанет ружье, привязанное между путлищем и подпругой, и... Но дед застыл на мгновение и вдруг, хлестнув коня, с оглушительным гиком и улюлюканьем, которые слились с улюлюканьем и гиком и Петко, и Кепека, бросился напрямик навстречу лисе. Сейчас она в страхе бросится прямо на нас, думал испуганный музбалак, но вдруг лиса, запутавшаяся в открытой степи, свалилась и покатила кубарем под напором собственной скорости. И прежде, чем Капта перегрыз ей горло, дед на лету набросил на нее сеть, да так умело и точно, что лиса, обернув ее вокруг себя два раза, застыла калачиком.

Так они поймали ту лисицу живьем, Ержан видел ее побежденные глаза, полные отчаяния и тоски. Но Петко сказал деду что-то умное, вроде того, что цель — не цель, а дорога к этой цели, — и дед согласился с гостем: отогнав Капты с Кепеком и махнув рукой от досады, отпустил растерянную лисицу обратно в степь.

* * *

Зато вдруг прискакал выпавший на это время из погони Шакенкоке. У него было что-то за пазухой. И он торжествующе вытащил лисенка, так же, как его мать, запутавшегося в сети: вот, будет теперь котенок Айсулу и Ержану! Ержан хоть и перехватил укоризненный взгляд Петко, но, подумав, как обрадуется живому лисенку Айсулу, сделал вид, что ничего не заметил.

Потом дома, когда дед зарезал-таки в честь гостя барана и,

освеживав его, приготовил и голову, и бесбармак, и ишек-шабак, после обильного ужина он взял в руки свою домбру и, запев гостевой жыр, стал пояснять Петко, что и здесь, как и на лисьей охоте, за “калтарысом” идет “калтарыс”, вплоть до последнего “улуу калтарыса”, когда и слушатель, как лиса, попадает в силки жырау:

*Достыныз зор,
Дуспанын кор,
Бар тилекке жетсениз,
Сансыз бакыт,
Алтын такыт —
Барша жаннан отсаныз...*

*Друзья сильны,
Враг унижен,
Когда исполнятся желанья.
Неизмеримое счастье,
Золотой престол, —
Там, в мире теней.
Оставит печаль,
Появится само по себе
Все, что душе угодно.
Где это все?
И какая в том польза? —
Коль не сможете унести с собой и волоса.*

“Калтарыс”, — вставлял здесь дед и продолжал:

*Мир хитер,
Как поток воды,
Мы упали в него соломинками.
Несет нас день за днем,
И мы качаемся,
Умножая свои труды и муки.
Где о камень,
Где о куст*

*Бьемся.
И от воды,
И от гула
Спасемся, только сойдя на нет.*

“Калтарыс!”, — восклицал дед и махал рукой Петко,

*Мир течет,
Шелестит,
Вливается в вечное озеро.
Одна — рано,
Другая — позже,
Соломинки собираются вместе.
Достигнув озера,
Остановившись,
Все там находят свой покой.*

“Улуу калтарыс!”, — рычал дед и внезапно притихшим голосом допевал:

*Успокоившись,
Умиrotворившись,
Поток воды затихает в затоне...*

Пока они пели эти песни, лисенок, принесший столько радости Айсулу, незаметно выскользнул из их дома, и его тут же загрыз Капты. Сколько было слез и крика, пока Кепек закапывал маленькое, с котенка, пушистое тело. С тех пор каждую ночь Ержан слышал какой-то вой — и догадывался, что это не Айсулу плачет по лисенку, а отпущенная в степь мать-лисица приходит к их двору, чтобы выпросить обратно своего детеныша. И Капты при этом начинал не лаять, а скулить, как перед атомным взрывом...

* * *

Той осенью по настоянию городской женге Байчичек, Шакен-коке купил в городе радиолу, и настоящее окно в мир открылось для всего двухсемейного населения Кара-Шагана. Вот это была радиола так радиола! — не чета дедовской охрипшей и осипшей “Стреле”. По утрам Шакен-коке врубал на весь полустанок утреннюю зарядку с преподавателем Гордеевым и пианистом Потаповым. Потом наступал черед деда Даулета слушать вместе с Шакеном гимн Советского Союза и “Последние известия”, вслед за чем Шакен повторял свое неизменное: “Мы не только догоним, но и обгоним Америку!” Затем, когда дед уходил на свои пути, женщины слушали всякую местную чепуху и радиопостановки по второй казахстанской программе. Когда женщины уходили доить коров или же за хворостом в степь, да если еще Шакен-коке был на вахте, к радиоле принимал Кепек-нагаши и, втыкая в радиолу всякие провода, вылавливал какую-то бесноватую музыку, под которую он трясся и без выпивки.

Что же до детей, Ержану добрый Петко дал как-то две долгоиграющие пластинки, одну под названием “Лендик кофам”⁶, а вторую под непонятным именем “Динрит”⁷. Эти две пластинки они крутили бесконечно, пока не приходили взрослые и не отправляли детей спать. На одной играла скрипка, да так красиво, будто Петко решил больше не отвлекаться на замечания Ержану, а просто играть. На другой звучало что-то вроде песен, которые ловил Кепек-нагаши, но и в них была все та же чистота и необыкновенная радость. “Хайуан акеле, хайуан акеле, хайуан акеле...”⁸ — пел, засыпая у себя дома, Ержан, а в соседнем доме ему вторила незасыпающая Айсулу: “Улу акем баласеней, улу акем баласеней!”⁹

* * *

Тому, кто не жил в степи, трудно понять, как можно существовать среди этой пустоты на все девять сторон. Но те, кто живет здесь

⁶ “Льняное общество”, скорее всего, пластинка Леонида Когана (каз.)

⁷ Песни Дина Рида.

⁸ Приведи зверя, приведи зверя... Видимо, Хава Нагила (каз.)

⁹ “Старший брат — ты ребенок, старший брат, ты ребенок” — та же песня (каз.)

веками, знают, как изменчива и богата степь, как текуче и разноцветно небо над ней, как переменчив и подвижен воздух вокруг, как разнообразна и неисчислима степная растительность, как много кругом всякой живности и зверья. То пыльная буря возьмется ниоткуда, то желтый смерч завертит воздух издалека, как женщины вертят в веревки верблюжью шерсть, то огромное и тяжелое небо нависнет всем своим весом над притихшей и покорной землей...

Взрослея, Ержан стал все чаще присматриваться к дороге, по которой они ехали к Петко, и эта дорога казалась ему музыкой, такой же плавной и разнозвучной. На кустиках жузгуна и солянки качались ноты ветра, землеройки и суслики подпевали вторыми и третьими голосами.

Дома суровое и морщинистое лицо деда казалось ему скрипичным концертом Баха, который он только начал разучивать; надоедливая бодрость Шакена-коке — “Венским маршем” Крейсlera, за который они решили и вовсе не браться; бестолковые действия Кепека — этюдами Гавинье, а розовощекое личико его Айсулу — почему-то “Зимой” Вивальди, которую с упоением играл посреди позднего казахского лета болгарин Петко.

Только вот женщины, включая и городскую женге Байчичек, все еще ассоциировались у него с однообразными звуками старинной домбры...

* * *

Радость степи, радость музыки, радость детства... На фоне этих безоблачных мотивов почти всегда — то едва слышно, то вдруг, непонятно с чего выступая на первый план, звучала и другая мелодия: ожидание чего-то неминуемого, страшного, безобразного... Это приходило гулом, дрожью, а то и ураганом из Зоны. Шакен-коке, как правило, бывал в это время на вахте, но в тех редких случаях, когда он оказывался дома, дед, Шакен и Кепек, запертые в одной из семей на несколько дней, бесконечно спорили между собой. Шакен, на которого была возложена роль ответчика за все, загорался, как сама степь во время взрыва, и поучал остальных: дескать, мало того, что

атомная бомба — это наш, советский ответ на гонку вооружений, но взрывы нужны и для мирных целей, чтобы строить коммунизм! “Мы обязательно должны не только догнать, но и обогнать американцев! На случай третьей мировой войны!” — завершал он пламенную речь своей коронной фразой. “Ты не читай нам агитацию!” — горячился дед, отвоевавший две мировые войны — первую в окопах на тыловых работах, а вторую — дойдя пешком до Эльбы, где он брался с американцами. “Нет на свете ничего, из-за чего стоило бы воевать! Я понимаю — железная дорога: и людей возит, и товары — всем польза! А какая польза от твоего атома-патома?! Всю степь сделали нежелей! Ни песчанки, ни лисы уже не встретишь!”

“У мужиков уже не стоит!” — непонятно вступал Кепек, на что Шакен как-то стыдливо отводил глаза.

Однажды, поздней осенью Шакен съездил в город и привез домой телевизор. “Если не я, пусть он образовывает вас!” — сказал он всем, устанавливая его на самом видном месте в доме.

* * *

С появлением телевизора в доме Шакена-коке радиоло как-то сама по себе переключалась в дом деда Даулета, и Дин Рид запел теперь прямо для Ержана. “Жашуд байлуп жеурикоуа, жеурикоуа, жеурикоуа, жашуд байлуп жеурикоуа бозген замлып нау!” — подпевал Ержан по-казахски. “Лиза, лиза, лиза, лизабет”, — вторила по-казахски ему и Дину Риду краснощекая Айсулу. Их время теперь четко разделилось на дни и вечера. Дни, которые нужно было пережить — за музыкой, за Дином Ридом, за беготней по степи, за выходом к вагонам на запасном пути □ — за чем угодно, и вечера, до которых нужно было дожить, чтобы погружаться как в сон в этот маленький телевизор, светящий в скорой осенней темноте синим притягательным светом. Мультики, концерты, кино, новости, а особенно музыка, которую Шакен-коке по-хозяйски назвал “Время — вперед”, музыка, подобная жизни Ержана и Айсулу, — они не пропускали ни одной передачи, пока, обессиленные, не вырубались прямо перед телевизором, валясь на кошму.

А однажды на Новый год в “Голубом огоньке” появился сам Дин Рид, точно такой же, как на обложке своей пластинки, высокий, стройный, красивый, и запел, как по заказу Айсулу, ее любимую песню “Лиза, лиза, лиза, лизабет”. С тех пор, едва Ержан брался за скрипку, подбирая то Когана, то Дина Рида, он повязывал на шею материнский шелковый черный платок. Ни дать ни взять — галстук-бабочка. Как у Дина Рида.

Он твердо знал, на кого будет похожим, когда вырастет.

* * *

Ах, как Ержан хотел походить на Дина Рида! — спал и видел себя таким же красавцем с длинными волосами. Да что спал! Он и наяву представлял себя этим американцем, особенно когда смотрел на свою удлиняющуюся тень. Тогда он брал скрипку и, держа ее как гитару, начинал вертеться так, что и тень извивалась по земле в такт звукам: “Шууийуани сектим, сектим, шууийуани уани тем, тайди идоу, у-у, у-у...”¹⁰ Он настолько свыкся с этим образом, что, когда ненароком заглядывал в материнское или бабкино зеркальце, удивлялся: ведь он-то ожидал увидеть там лицо, отпечатанное на конверте долгоиграющей пластинки.

Благодаря деду Даулету Ержан научился в свое время играть на домбре. Благодаря Шакену-коке он заполучил скрипку. Благодаря Кепеку-нагаши он обрел учителя Петко. Благодаря Петко он научился и музыке, и русскому, и даже заполучил Дина Рида. Благодаря Дину Риду он научился читать, поскольку хотел узнать все об этом высоком, красивом и счастливом человеке. Шакен-коке теперь привозил из города то газету, то журнал, то “Ровесник”, то “Кругозор”, откуда Ержан буковка за буковкой узнавал про жизнь своего кумира. Да и Петко, заслышав, что Ержан напеваает со своего верблюда то “Марию, Марию, Марию”, то “Ла бамбу”, тоже нет-нет да и делился своими познаниями о Дине Риде, которого даже как-то видел на московской телестудии. Но восхищенный этими рассказами

¹⁰ На самом деле: “We’ve got to keep searching, searching, she’ll be by my side, following song...”

Ержан — в вечном присутствии нелепого Кепека — особо вида не подавал, поскольку знал уже, как ревнив был дед к его скрипке. Ведь и Петко, узнай он от Кепека, что Ержан время от времени отбрасывает смычок и хватает скрипку как гитару, тоже наверняка бы стал ревновать.

* * *

Кроме взрывов в Зоне лишь одно мучило Ержана тогда. Понаслышавшись споров о третьей мировой войне и насмотревшись ночных кошмаров, когда серебряные самолетики вдруг превращались в железных беркутов, налетающих на него как на лисенка, Ержан просыпался весь в поту и, боясь шевельнуться, с ужасом думал: а на чьей же стороне его американец Дин Рид?

Кому он мог рассказать про эти ночные страхи? Нет, перед Петко и перед остальными Ержан всерьез разыгрывал роль верного ученика Леонида Когана.

* * *

“Вундеркинд!” — сказал однажды Петко, глядя на мальчика влюбленными глазами, и это прозвище накрепко прицепилось к Ержану. Так теперь его звал Кепек-нагаши, от того быстро и охотно воспринял это слово Шакен-коке, который не только воскликнул: “Теперь мы точно обгоним американцев!”, но даже стал объяснять, что это слово означает в переводе с алманского, дескать, “вундер” это чудо, а “киндер” — это ребенок, мол, поэтому правильно будет говорить “вундеркиндер”. Так это слово заучил и дед Даулет, правда, бабки быстро оказали его, называя своего внука “бултур кимдир” — “этот кто-то”. Ержан быстро привык к этой кликухе, тем более что им хвалились при любом удобном случае: когда на раздаточном поезде приезжал друг деда Толеген, когда какой-нибудь пассажирский поезд останавливался на запасном пути, когда на ПМК к Петко приезжал участковый милиционер или окружной врач. В таких случаях кто-то

из взрослых кричал: “Вундеркинд!”, и Ержан тотчас хватал свою скрипку и мчался на зов, чтобы сыграть им или “Каприз” Паганини, или первый концерт Вивальди из его “Весны”.

“Вундеркинд!” — соглашались и праздные пассажиры поезда, и устрашающие милиционер и доктор, и старый, добрый дядя Толеген.

* * *

После таких выступлений больше всех загорался дядя Шакен. “Его надо показать в консерватории! — восклицал он. — Вот возьму отпуск и поеду с ним в Алма-Ату!” Ержан приходил в ужас от этих слов. Прежде всего он думал, что его хотят законсервировать — даром, что ли, “консерватория”? — но даже после того, как Шакенкоке объяснил, что это такое, тот прошлый случай, когда дед Даулет решил взять его в город, а попал в “акырзаман”, пугал Ержана еще больше. И казалось, что остальные мужчины были тоже на его стороне. Дед махал рукой: “Вот пойдет в школу — все пройдет!” — как будто речь шла о какой-то простуде. Кепек-нагаши махал рукой с другой стороны: “Да не найдешь ты другого Петки. Твои Серики на домбрушке тренькают, а Петко хоть и Педик, у Ойстраха учился!” — и показывал на играющих в телевизоре: “Смотри, да мой жиен в сто раз лучше каждого из этих охломонов играет! Одна палка, два струна, я хозяин вся страна!” На это уже сердился дед, что, впрочем, мало что меняло.

Правда, в это время Ержана зазывала из соседней комнаты бабка Улбарсын: “Эй, булдур кимдир, келши, безимди басып койши!” — “Эй, вундеркинд, поди, намни-ка мне мои узлы!” Она бы уж точно не отпустила своего любимого массажиста никуда.

* * *

В семь лет Ержан пошел в школу. “Пошел” — это легко сказать. Школа находилась в поселке, что располагался в семи километрах от Кара-Шагана, и “пойти в школу” означало шагать ежедневно семь километров в одну сторону и семь километров обратно. В один из

первых же походов дед заставил его навесить на одно плечо домбру, на другое скрипку, и там, в школе, когда учителя собрали всех в спортзале, сыграть и на том, и на другом инструменте. После этого его кличка “Вундеркинд” сама собой перекочевала из Кара-Шагана в школу. Правда, как и во всякой школе, ее укоротили до “Вунда”. Теперь, когда в школу приезжали или проверяющие из района, или же собирались родители на собрание, а то и просто по поводу любой торжественной линейки, “Вунда” должен был играть то Курмангазы, то Чайковского.

Зимой, когда по степи зарыскали и завывали голодные волки да шакалы, дед стал возить его в школу на коне, и пока Ержан отогревался в классе, Даулет-Темиржол сидел в железнодорожной столовой. Это быстро ему надоело, и он, оповестив школьного директора, забрал на остаток зимы внука домой, опять оставив его один на один со скрипкой, с тетрадками и карандашами.

Тогда-то, долгими зимними вечерами, пока бабка Улбарсын перебирала под лампой верблюжью шерсть для последующей пряжи, Ержан научился рисовать все, что приходило ему в голову, все, что он успел увидеть за свою короткую пока жизнь. Тогда же он стал обучать грамоте свою Айсулу. И когда следующим летом та пошла в школу, то быстро стала лучшей в классе: ведь она знала то, что другим только предстояло узнать.

Отвозить их в школу на верблюде в тесноте между двух горбов стал дядя Шакен. Когда же он пропадал на своей “вахте”, догоняя и обгоняя американцев, дед Даулет сажал их обоих на ишачка и вручал им по засохшему початку кукурузы, чтобы Айсулу время от времени рассыпала зерно по дороге, так, мол, вы не потеряетесь. А потеряетесь — пустим кур по следу, и они вас отыщут, — говорил хитровато дед. Хотя как им было теряться, если вся дорога шла вдоль железной дороги. А потом дед наказал им, что солнце с утра должно светить им постоянно в лицо с правого глаза, ровно так же, как по возвращении.

Айсулу крепко цеплялась за худые плечи Ержана, и они скакали то по ветру, то против ветра, то сквозь смерч, то сквозь пыльную бурю, разбрасывая на первых порах кукурузные семена понапрасну.

Впрочем, степные жаворонки да сизоворонки исправно склевывали всю иссохшуюся кукурузу. А солнце пряталось за быстрые осенние облака.

* * *

Но однажды, когда они ехали в школу солнечным осенним днем и Айсулу пела прямо в ухо Ержану одну из песен их Дина Рида, ослик подобрал выброшенную из поезда кочерыжку и, вместо того чтобы спокойно пережевать ее, остановившись при этом как будто для справления нужды, решил проглотить ее целиком на ходу и вдруг подавился. Внезапно он стал брыкаться и сбрасывать их со своей спины: сначала свалилась поющая Айсулу, за ней, на другую сторону, Ержан; осел дергался и хрипел, мотая головой из стороны в сторону. Ержан вскочил и бросился на него. Сначала хотел избить осла, но, увидев пену, идущую у него изо рта, не на шутку перепугался. Ослик не подпускал его к себе, брыкался, отбивался хвостом, щерил зубы и страшно хрипел. “Устасенши!” — “Держи!” — крикнул он, и маленькая Айсулу, сбросив на землю портфель, кинулась к удилам, чтобы, схватившись за них, потянуть голову ослика вниз к земле. Ержан тут же разжал ему пасть и всунул руку по локоть, чтобы, вцепившись сквозь пенистую мякоть ногтями в кочерыжку, потянуть ее изо всех сил на себя. Осел взвыл и впился зубами в руку Ержана, но тот, хотя матюкнулся по-взрослому: “Шешенди...” — но кочерыжку не отпустил и вытащил вместе с окровавленной рукой из пасти ишака, чтобы врезать ею ему между глаз! Ослик обиженно, но благодарно завыл: “И-а! И-и-а-а! И-и-а-а-а!” — и Айсулу, как какая-нибудь бабка Шолпан, тоже выругалась: “Олюп кетпейсинба! Хайван! Сахан не дедим?!”¹¹ — и без дальнейших причитаний сняла с головы платок, облизала кровь, текущую по руке Ержана из-под задрванного рукава и крепко перевязала рану...

В тот день они пропустили школу вместе...

* * *

¹¹ Чтoб ты сдох! Скoтина! Чтo я тебе гoвoрила?!

Из чего вообще состояла их будничная жизнь? Налепить на заднюю стенку домов кизяка — их топлива на зиму. Поохотиться по товарным поездом, передыхающим на запасном пути: то сметешь с вагона, груженного углем, мешок-другой угольной пыли и крошки, а то выбьешь из восьми деревянных распорок, фиксирующих платформу, одну-другую на дрова, на стройматериал... — все это они делали вместе с Айсулу. Но больше всего они любили выносить кипятик и курт к случайному пассажирскому поезду, переживающему какой-нибудь литерный товарняк, или же выходить к нему с домброй-полушкой... И тогда городские люди из неведомых земель — то золотозубые сарты, то желтоволосые урусы, то краснорубашные цыгане — давали им не только новенькие монетки да бумажные рубли, но кто — конфету, кто — плитку шоколада, кто — какую-нибудь ненужную городскую вещичку. Если заработанные сладости они делили пополам, то вещички Ержан щедро отдавал Айсулу, и у той в коробочках и ящичках их скопилась целая уйма: женская помада, комсомольские и пионерские значки, авторучка, брелок от ключей и даже огромные солнцезащитные очки.

Правда, пассажирские поезда переживали здесь редко, все больше товарные, то с цементом, то с лесом, с которого можно было сдирать кору, то с песком, то с фарфоровой глиной, которую можно было жевать вместо черной смолы.

Зато с регулярностью, раз в неделю, все эти полустанки, называемые точками, объезжал вагон дяди Толегена, прицепляемый к тому или иному составу, и доставлял им железнодорожный хлеб, изредка муку для лепешек, сахар с солью и плиточный чай. Но к нему выходили уже сами взрослые.

* * *

Теперь и к Петко они ездили вдвоем, накрепко проинструктированные Кепеком, чтоб не расставались ни на минуту. К несчастью, ПМК Петко располагалось совсем в другой стороне, нежели школа: если начертить треугольник между домом, школой и

Петко, то Петко находился на самой вершине. Той осенью, после очередной линейки, когда Ержан отыграл вместо горна и барабанов моцартовский марш, они решили не заезжать домой, а проехать неведомым доселе путем прямо к Петко. Тем более, что дедовским способом Ержан быстро рассчитал: если от дома в школу и из школы домой солнце светило им в правый глаз, то теперь, согласно русской приговорке Кепека-нагаши, оно должно светить им прямо в “жопу”. Степь их совсем не пугала, особенно же водруженных на ишака — ни змея тебя не ужалит, ни каракурт, ни лиса не приблизится, ни коршун. Степь следила за ними, как широко раскрытый глаз, такой же огромный светлый глаз смотрел и сопровождал их сверху. Редкая могила выпирала из горизонта, черным пятнышком обозначая их путь. Но одна из этих выпирающих из земли точек странно шевелилась, и Ержан быстро понял: это одинокий волк, вышедший на свою предзимнюю охоту. Было видно, что тот поджидает свою добычу, и тогда Ержан сбросил с себя школьную гимнастерку, накрутил на руку и, используя ее вместо камчи, погнался на ишака, улюлюкая изо всех сил и лупя гимнастеркой не только вьючное животное, но и пустой степной воздух. Айсулу тоже принялась вертеть своим джемпером и лупить ишака, визжа при этом так, что Ержан чуть не оглох. Волк, похоже, такого не ожидал и вдруг бросился наутек. Он бежал в том же направлении, куда и их ишачок, и выглядело это так, будто волк от них убегает, а они стремятся его догнать. Так они проскакали почти полчаса, пока волк внезапно не пропал, а они в конце концов увидели и вагончики, и экскаваторы, словом, благополучно добрались до Петко.

Они не стали рассказывать о своем приключении, а потом, во время долгого урока, ударила такая гроза, что они разом забыли все, что было, и бросились заводить под крышу ишачка, который, от ужаса наложив под себя, дрожал каждой волосинкой своего короткого хвоста.

Дождь и гроза продолжались без остановки, кругом была тьма-тьмушая. В ту ночь они пропустили свой обязательный телевизор и остались ночевать в вагончике у Петко.

* * *

В тот вечер, когда Айсулу уснула в одной кровати с Ержаном, ближе к полуночи, слушая гул ветра и хлещущий по вагончику дождь, Ержан вдруг почувал чей-то взгляд на себе и, обернувшись, увидел Петко, стоящего над их кроватью. Тот тоже, видимо, почувал на себе взгляд мальчишки и как-то неловко стал поправлять сползающее одеяло. Ержан лежал ни жив ни мертв, не зная, чего ожидать, боясь больше не за себя, а за Айсулу, и слыша, как гулко бьется его сердце. Острый музыкальный слух Петко, видимо, уловил этот гулкий стук детского страха, он присел на край кровати и, проведя ладонью по волосам Ержана, сказал: “Спи, не бойся, я здесь...” Потом прибавил: “Хочешь, я тебе расскажу сказку о Вечном мальчишке?” — и, не дожидаясь ответа, стал шептать над кроватью:

“Давным-давно жил мальчик, звали его Вольфганг. Знаешь, что означает это имя? Идущий волк. (Здесь Ержан вздрогнул: уж не послал ли волка в степь сам хитрый Петко?) Был этот мальчик так талантлив, что играл на любом инструменте с завязанными платком глазами. Однажды ночью, когда Вольфганг не спал, а высматривал среди звезд ноты для своей музыки, к нему спустилась с неба среброликая луна и стала, танцуя, увлекать его за собой — на улицу, на речку, на озеро. Музыка была столь завораживающая, что мальчишка шел и шел, совершенно не в силах ни опомниться, ни сопротивляться. Там, на озере, увлекая его и танцем, и песней, луна пошла по воде, и вслед за ней пошел мальчик. Глуше и глуше становилась музыка, все плотнее обступала его со всех сторон вода. И вот серебряная нить музыки оборвалась. Вечная немота наполнила уши, нутро и тело мальчика, и на последнем издыхании он взвыл по-волчьи...

Его спасли не то люди, не то русалки, не то эльфы. И с тех пор, хоть и жило, и росло его тело, но душа так и осталась в той ночи, на том озере, очарованная навеки луной, ее серебристой дорожкой, полной волшебной музыки... Вот и ты напоминаешь мне того вечного мальчишка...”, — шептал Петко, или это уже снилось Ержану, и не слова Петко, а, скорее, шорох серебристого дождя за окном

досказывал эту сладкую и страшную сказку.

Наутро гроза хоть и прекратилась, но дождь все еще шел, и степь развезло так, что ишачку было не пройти и двух шагов. Поскольку работа Петко по такой погоде тоже стала, они, позавтракав, опять взялись за скрипку и опять стали заниматься то Бомом, то Генделем.

Прошел день, наступил вечер, но дождь не прекращался. Откуда им было знать, что все это время и дед Даулет, оставив на путях своего сына Кепека, и Шакен-коке, чуть не сойдя с ума из-за своей единственной дочери, объезжают кто на верблюде, кто на коне дома одноклассников Ержана и Айсулу и нигде не могут их найти...

Когда на третий день они приехали на бодром, отоспавшемся ишачке, под виноватым солнцем, не в школу, а сразу же домой, на одну кинулись с объятиями, а на второго с кнутом... А Кепек к обоим со странными расспросами...

* * *

После следующей школьной зимы, когда, пропуская уроки в особенно буранные дни, Ержан учил Айсулу музыке, счету и письму дома, он вдруг пришел к мысли, что должен остаться на второй год, чтобы Айсулу нагнала его, и тогда они будут сидеть всю жизнь за одной партой. И хотя Ержан читал, считал, рисовал лучше всех в классе, он стал то оставлять учебники дома, то забывать про домашние задания, то просто ставить кляксы в тетрадь.

Учителя попытались вызвать его родителей, но Ержан записок никому не передавал, не поедут же сами учителя за семь километров туда и семь обратно, чтобы жаловаться на его неуспеваемость. Словом, оставили его на второй год. Дед, узнав об этом, хотел было отхлестать внука все тем же кнутом, но бабка заступилась, сказав, что музыка совсем уж затюкала бедного мальчишку, и на всякий случай прогнала его на несколько дней в соседний дом к Шолпан-шеше. Та поохала, поохала, сказала, что, пока ее зять Шакен на вахте, Ержан побудет мужчиной в их доме, и успокоилась. Надо сказать, что в отсутствие Шакена по хозяйству обычно помогал им Кепек.

Теперь же в этот гремучий зной стал Ержан гонять общее стадо к далекой пойме в оврагах, к высохшей за лето речке. Там стадо выискивало редкие ощипки тас-биюргуна и, переворачивая рогами залежавшиеся валуны, слизывало с обратной стороны оставшуюся влагу.

Безжалостное, голое солнце колотило прямо в темя; ни выжженные, бездыханные кусты тамариска, ни криворукий саксаул уже не укрывали полностью ни лица, ни головы. Ержан повязывал голову майкой, а когда совсем становилось невтерпеж, бережно поливал обгорающую кожу водой из солдатской фляжки Шакена, и тогда или корова, или блаженная овца начинали слизывать шершавым языком влагу с его кожи, тем самым чуть успокаивая зуд.

По вечерам, когда он, обгорелый, возвращался опять в дом Шолпан-шеше, та вместе с внучкой обмазывали то его спину, то грудь кислым молоком, и жизнь возвращалась под маленькими ладошками его Айсулу...

* * *

Второй раз второй класс он начал за одной партой с Айсулу, и они стали учиться, соревнуясь друг с другом в пятерках. Учителя не могли нарадоваться на него, считая, что шефство, которое взяла над второгодником примерная отличница Айсулу, сработало. Но кто из них знал, что дома шефствовал как раз Ержан: это он делал рисунки в двух экземплярах, отдавая лучший Айсулу, это он решал трудные задачи и подсказывал во время диктантов. Поскольку он был выше и здоровее этой мелкоты на год, то и заступался за нее он, не давая Айсулу никому в обиду.

Однажды на уроке родной речи вдруг задребезжали стекла, парты заходили ходуном, и черная доска с грохотом сорвалась со стены, прихлопнув собой перепуганную учительницу, хромоножку Кымбат. Ержан бросился к ней на помощь и не только вытащил ее из-под доски, чтобы та сумела проковылять, согласно инструкции, под дверной косяк, но и, скомандовав всем забраться под парты, сам выбил все еще дребезжащее стекло и, порезанный, вытащил наружу

свою Айсулу.

Гул еще раз прошел по земле, спустя некоторое время проплыла гудящая воздушная волна, сорвавшая со школы всю черепицу, и настала жуткая тишина. Овцы не блеяли, собаки не лаяли, ишаки не оралы, и даже вездесущие мухи не жужжали. Одна Айсулу, личиком в пыль, шептала свою бисмиллу...

* * *

Той же осенью отец Айсулу, дядя Шакен, организовал для всего их класса долгую автобусную экскурсию в городок ядерщиков, где он работал на своей “вахте”. День они ехали разбитыми и пыльными степными дорогами, на ночь остались ночевать в спортзале местной школы, а с утра их, умытых и очистившихся от пыли, повели на так называемый “опытный реактор”. Правда, на сам реактор не пустили, но в красном уголке Ержан и Айсулу отыграли положенные пьесы и даже дуэт. Дальше им показали фильм о мирном освоении атома. Потом дядя Шакен, облаченный, как и другие взрослые, в белый халат и белую шапочку, объявил, что именно здесь они делают все, чтобы не только догнать, но и обогнать Америку, а затем стал объяснять с помощью всяких разноцветных шариков, посаженных на толстую проволоку, то, что он назвал “цепной реакцией”. Он брал один шарик из одной грозди и вышибал им такой же из другой, сажая первый на опустевшее место. “Надо же было везти нас так далеко, чтобы рассказывать про пятнашки!” — думал про себя Ержан, зато Айсулу не только смотрела во все глаза, но и задавала отцу вопросы, называя его Шакеном Нурпеисовичем.

Потом им показывали фильм об атомном взрыве и позже, на площадке, даже учили, как вести себя при испытаниях и как пользоваться противогазами. Вот это было веселье! Дети носились по площадке, напялив противогазы и не узнавая друг друга. Но вдруг появился человек не только в противогазе, но и в резиновом комбинезоне и не по-земному направился прямо к Айсулу, чтобы схватить ее своими клешнями-крагами, и когда она закричала, а Ержан кинулся ей на выручку, человек сбросил с лица свой шлем. Это

был хохочущий дядя Шакен. Но Ержану вдруг стало не по себе...

* * *

К вечеру дядя Шакен повез их на Мертвое озеро — озеро, образовавшееся от взрыва атомной бомбы, строго запретив пить или прикасаться к так называемой “тяжелой воде”. Озеро было сказочным. Посреди ровной степи расстилалась изумрудная вода, в которой отражалось редкое залетное облачко. Ни движения, ни волны, ни зыби, ни дрожи — стеклянная, бутылочного цвета поверхность — и лишь осторожные отражения ребятишек, заглядывающих на прибрежное дно: не встретится ли в этой стоячей и плотной воде какая сказочная рыбина или другое чудище...

И в это время дядю Шакена позвал водитель автобуса, вдруг обнаруживший, что проколол в степи колесо. Дядя Шакен назначил Ержана старшим и побежал помогать поднять автобус на домкрат.

Дети остались одни. И тут Ержана охватило невероятное ощущение полноты жизни: бескрайняя степь, безграничное небо, бездонная вода, тихая Айсулу, стоящая рядом и глядящая на все это, его длинная, как Дин Рид, тень... Тогда, чтобы хоть как-то избыть это ощущение, он сбросил с себя футболку и брюки и на глазах у всех вошел в эту запретную воду, чтобы побарахтаться в ней, и потом, под восхищенно-перепуганное верещание детей, и особенно же Айсулу, вышел из воды, отряхнувшись как ни в чем не бывало, и опять облачился в свои парусиновые брюки и китайскую футболку.

Никто, разумеется, ябедничать не стал, зато все долго и с восхищением вспоминали неожиданную выходку Вундера.

Часть вторая

До-ля

Поезд ехал по степи, как рассказ Ержана — не останавливаясь, не запинаясь, вперед и вперед. От него не исходило, как это бывает в

старых поездах, сладкой горечи воспоминаний — бьющей, скажем, прогорклостью дыма в последние вагоны. Нет, тепловоз тащил состав без напряжения, плавно и безостановочно.

Следующие два-три года у Ержана все, казалось бы, шло своим чередом, школьные осени сменялись свирепыми зимами, когда дверь заносило снегом так, что не оставалось ничего иного, как играть день и ночь то на скрипке, то на домбре. Иной же раз приходилось ему выбираться из боковой форточки, чтобы разгрести сугробы единственной железнодорожной лопатой.

Как бы то ни было, после музыкальной зимы приходила не менее музыкальная весна, когда музыка из его нутра, из нутра его комнаты выливалась наружу, и покорные ей, они уезжали с Айсулу на ишачке вместо школы в сторону холмов, где, как зарево качающихся нот, цвели поля алых тюльпанов.

А там незаметно начинало полыхать и лето — слава богу, без школы, но зато опять с музыкой, а еще со стадом и дневной разлукой — ведь не станешь брать с собой в такое пекло тонкокожую Айсулу!

А то, что по-прежнему маячило животным страхом, — оно ведь могло случиться и посреди знойного лета, когда внезапно овцы блеяли, как резаные, и бросались в разные стороны, коровы зарывались рогами в землю, а осел, визжа, начинал кататься в пыли... И тогда мелкий гуд шел по земле, страх поднимался от трясущихся колен к солнечному сплетению и застывал там ноющей тяжестью, пока небо не шарахало над головой и не раскалывалось на куски, сминая всего тебя в прах, в песок, и черный вихрь с диким воем проносился над тобой...

Это случалось и зимой, и ночью, и осенью, и утром, и в музыку и в паузе — безо всякой регулярности и предупреждения.

* * *

Ержану было 12 лет, а Айсулу — 11. Они учились в пятом классе, когда сначала девчонки после долгих зимних каникул, а потом и мальчишки их класса стали обгонять Ержана в росте. А ведь он был на год их старше и всегда выглядел и выше, и сильнее. Поначалу это

было не очень заметно, ну, вытянулся Серик или Берик, умнее-то от этого не стал! Но когда и Айсулу, его крошка Сулу, его тонкокрылая ласточка Сулу, стала обгонять Ержана в росте, он почувал неладное. Тот самый страх, что всегда начинался с дрожи в коленках и застывал ноющей тяжестью в солнечном сплетении, казалось, теперь поднялся выше — до самого горла, до глотки и застрял в ней, не пуская тело дальше...

Ержан тянулся на дверном косяке; зная, что баскетболисты растут выше всех, приколотил ржавый обруч к задней стенке и прыгал, вместо музыки, втайне ото всех, забрасывая в обруч то тряпичный комок, то каток верблюжьей шерсти. Ночами он тянулся в постели, представляя, что к утру проснется Динем Ридом. Но рост его остановился.

И это стали замечать другие. Бабка Улбарсын стала кстати и некстати кормить его печенью весенних новорожденных барашков, дед Даулет начал заказывать своему другу Толегену — развозчику хлеба и продуктов — морковку из города. И даже отец Сулу, дядя Шакен, привез со своей вахты отменную гадость — рыбий жир, который давал лишь вонючую отрыжку, но росту Ержана ни первое, ни второе, ни третье не помогло никак!

Он забросил музыку, тем более что и Петко уехал в свою Болгарию, где будто бы умер кто-то из его близких; он пропал все лето со своим стадом в тех самых оврагах вблизи зоны, валяясь голым на солнце, но даже солнце не брало его!

А однажды его, полуживого от укуса то ли фаланги, а то ли скорпиона, вывез к дому его верный и послушный ишак...

* * *

Первого сентября того года Ержан не пошел в школу. Дядя Шакен повез нарядную Сулу одну. Второго сентября две бабки уговорили его заменить Шакена, уехавшего срочно на свою вахту. Ладно, пусть не сидит на уроках, пусть просто проводит Сулу туда и обратно. Хотя дед, как водится, отругал его и строго-настрого наказал, чтобы тот не

думал сбежать с уроков. Ержан наотрез отказался садиться на своего ослика рядом с высокой Сулу и побрел вслед за ишачком на каком-то расстоянии. В осенней тихой степи Сулу запела не Дина Рида, а грустную песню Абая, жившего когда-то в этих же степях:

*Кулахтан кирип бойды алар,
Жахсы эн мен татты куй,
Конилге турлы ой салар,
Энди суйсен менше суй.*

*Дуние ойдан шыхады,
Озимды-озим умытып.
Конлим энди ухады,
Журегим бойды жылытып.*

*Входит в уши и охватывает рост
Звук хороший и сладкий напев.
Чувства разные в сердце волнует.
Если полюбишь, люби как я...*

*Мир из мысли растет тайком,
Я себя надеждами питаю.
Душа моя теперь понимает,
Согревая сердцем всю статью...*

Ержан же ловил лишь болезненные слова о росте и стати...

* * *

Он отсидел в тот день все уроки, но за последней партой, в одиночку, не выходя на перемены и притворяясь спящим, когда Сулу подходила к окну. После уроков Ержан опять побрел пешком, правда, теперь впереди осла, не оглядываясь на молчаливую и грустную Айсулу. Сложные чувства обуревали Ержана, ему хотелось то уверений Сулу, что как бы там ни было и что бы с ним ни случилось,

она все равно будет любить только его одного и, как обещала с самого детства, выйдет замуж лишь за него. С другой стороны, он понимал, что она уже чуть ли не на полголовы выше, а если *это* станет продолжаться... Дальше он думать не мог, и это был не привычный

страх — настоящий гнев. Он хотел убить себя, убить ее, высоко сидящую на этом дурном и крикливом осле, хотел разнести в пух и прах эту железную дорогу, эту степь, эту землю, это небо...

* * *

В таком состоянии духа он отходил в школу еще две-три недели, каждый день готовясь к чему-то неминуемому, в чем он боялся себе признаться, а дети тем временем росли не по дням, а по часам, и его Айсулу на глазах превращалась в настоящую красавицу. И девочки, и мальчишки вертелись вокруг нее, и лишь один Ержан, лицом как серая земля, сидел в углу на переменах, бросив тяжелую голову на парту и исподлобья высматривая то улыбку на ее лице, то ответную радость какого-нибудь Серика или Берика.

“Убить ее! Убить себя!” — стучали мысли в такт сердцу, и он опять плелся после уроков, погруженный в свои тяжелые сомнения, которые никуда и ни к чему, кроме дома, не вели.

Как-то, сказавшись больным, он не пошел в школу, и Айсулу повез на все том же неустанном осле дядя Ержана — Кепек-нагаши. Весь день Ержан поджаривался на огне своих мыслей, а к вечеру вышел из дому, и первое, что он увидел, — это был его родной дядя, дядя Кепек, везущий Айсулу не за собой на осле, но впереди себя, так, что его руки, держащие поводья, обнимали девушку, а она как ни в чем не бывало напевала одну из своих песен, берущих начало от Дина Рида.

Ержан не пошел к ним, а бросился домой и всю ту ночь горел не в выдуманном, а в настоящем жару “акыр замана”...

* * *

Бабка Улбарсын повезла его к местной знахарке — Керемет-апке. Та пощупала Ержану пульс, помяла косточки на пальцах и завела его за полог, чтобы одним взмахом руки разделить висящий полог ровно надвое, и вдруг стала, сидя рядом с мальчишкой, взывать то к Тенгри, то к пророку Махамбету, то к его периште — ангелу. Она качалась из стороны в сторону, горячась все больше и больше, потом схватила со стены камчу и стала сначала лупить этой плеткой по своим коленям, а потом по плечам и спине мальчишки, приговаривая при этом: “Жин урды! Жин урды!” — “Бес попутал! Бес попутал!” И когда из ее рта пошла пена, она махнула рукой своей дочери, стоявшей у двери: “Апкельши!” — “Неси!” — и та в мгновение ока вернулась с раскаленной бараньей лопаточной костью, которую Керемет-апке облизала шипящим языком и приложила через одежду к спине мальчишки.

Ержан очень скоро освободился от жара, но не вырос ни на палец...

* * *

Он ненавидел свою бабуку, верящую во все это допотопное знахарство, а больше всего ее сказку о сопливом и маленьком Гесере, рассказанную ему в самом детстве; он ненавидел ее за то, что целыми днями они с Шолпан-шеше перебивали теперь ему кости, дескать, что за джинн вселился в него, почему он остался карликом...

Услышав это шушуканье, рассердился и отец Айсулу — Шакенкоке и, обругав обеих старух, повез Ержана в город на рентген. Поезд, в котором они ехали, проезжал по той самой степи, где дядя Шакен показывал ему давным-давно мертвый город, по той степи, где располагалось то самое проклятое Мертвое озеро, из-за которого случилось то, что случилось. Но все было покрыто тонким слоем снега, который носил из стороны в сторону степной пронзительный ветер, пока он не собирался сугробами у снегозаградителей, и от этого на душе становилось еще лютей и тревожней.

Они приехали в город — столпотворение людей, машин и домов, доехали в тесноте до какой-то ведомственной поликлиники, где

Ержана завели в комнату, попросили раздеться и встать между каких-то железок и, выключив свет, стали щелкать тем аппаратом, который дядя Шакен называл рентгеном.

После этого они долго ждали в коридоре, пока не вышел тот самый человек в белом халате и белой шапочке и не показал Шакену-коке какие-то черные листки со светлыми пятнами.

“Видите, кости как кости, — говорил он при этом, — совершенно детские, а зон роста уже нет...”

По тому, как дядя Шакен сначала спорил с ним, потом ругался, потом кричал на всех, помяная через слово то Америку, то Советский Союз, Ержан понимал, что и здесь ему не помогут. И тихо ненавидел не только этих белохалатников, но и самого Шакена-коке со всеми его атомами и рентгенами, с его вечной погоней за Америкой...

* * *

Настал черед и деду Даулету “растянуть кости” внука. Его способ был народным. Втайне от старух и молодежи он забрал Ержана в степь. Там, обернув его брезентовым железнодорожным плащом, аккуратно связал ему руки арканом, подложив под него войлочный платок, и, привязав другой конец аркана к своему поясу, забрался на коня, чтобы, постепенно ускоряя рысцу, скакать по песчаникам, волоча лежащего на земле врастающую внука за собой. Глаза и рот Ержана набились мелким песком, этот песок скрежетал на зубах вечером, руки его ныли от узлов аркана, но росту и это не прибавило.

Дед опять по ночам материл свою непутевую дочь, которая молчала в соседней комнате и плакала над засыпающим сыном. А засыпающий сын, сквозь ресницы глядя на свою бедную и немую мать, тихо ненавидел деда и за его матерщину, и за дневные напрасные муки, и за песок, проникший и в пах, и под копчик, и за соль на губах.

Именно тогда даже Кепек — его злейший враг Кепек-нагаши, уступил жиену свою единственную железную кровать. Он привязывал на ночь руки Ержана к раме в головах, а ноги — к противоположной и оставлял его распятым на ночь. И снилось

мальчишке, как он летит по степи Гесером на своем коне, и ковыль разметало в стороны под копытами, и небо, как разрезанное, открывается навстречу, а вместо солнца и луны его встречает лицо Айсулу...

* * *

В ту зиму Ержан хоть и забросил совсем скрипку, зато чуть ли не денно и ночью играл на домбре. Днями, когда дед уходил сбивать снег со своих рельсов, когда Кепек-нагаши увозил Айсулу в школу, а старухи садились с молодайками за пряжу войлока, Ержан оставался один и брал в руки домбру, чтобы из разу в раз играть одну и ту же песню — “Айдан ару нарса жо?”, но под тысячу разных мелодий.

*Нет ничего чище луны,
Но она лишь ночью, а днем ее нет.
Нет ничего чище солнца,
Но оно днем, а ночью его нет.
Нет ни в ком мусульманства —
Есть на языке, а в сердце нет.
Кочевая судьба, обилие богатств
У кого-то есть, у кого-то нет.
Будешь искать — не найдешь,
Каждому назначено его место,
Если не назначено — его вовсе нет.
Не станешь держаться слов знатока —
Будешь держаться тропы неуча,
И в разгар лета света тебе нет.
Куда ни пойдешь — хулят,
Ступишь ногой — найдут.
Две головы сведя воедино,
В народе двух добрых мужей нет.
При враге восставшего,
Привязав к поясу саблю,
Навесившего на себя много оружия,*

*Настоящего вояки-мужчины нет.
Не морщащего лоб добряка,
Богача, пожертвовавшего богатством,
Сколько ни ищи, нигде нет.
Уж если так ведется на свете,
Уж если на нет и суда нет,
То пропади пропадом со своими нетями
Среди мыслей, бегущих потоком,
Коровьей лепешкой плюхнувший свет...*

Ержан пел эту старинную песню, и ему казалось, что каждое слово ее — о нем, и не песню он поет, а рассказывает свою жизнь. Как сладко все начиналось, как будто весь свет состоял из чистой луны и чистого солнца, из его Айсулу и из него самого. Но песня ведь предупреждала с самого начала, что луна только ночью, а днем ее нет. Почему же Ержан не знал, что и степному солнцу — только день. И только раз в год луна и солнце могут оказаться по двум краям степи, как два огромных, одинаковых круга, или и это как-то приснилось ему?

Кто печется о нем? Все лишь говорят, а особенно эти две бабки, да и остальные: вон дед, вся его забота — хорошо смазанные стрелки, или Шакен-коке с его “трудовой вахтой”, где он догоняет и обгоняет Америку. Или Кепек с Айсулу, да и осел вместе с ними! Одному Ержану нет места, один Ержан никак не обозначен в их жизни...

Неучи, неучи, неучи — одна возит к колдунье, другой — четвертует конями заживо, да и тот, который образованный — и тот ничего сделать не может ни своим рентгеном, ни своим реактором!

Куда ему теперь деваться? В школу не пойдешь: все сосунки уже на голову выше его — засмеют. Сидеть среди этой тьмы, где все разом забыли о том, что он надкусил ухо Айсулу как своей нареченной! Нет, не будет им жизни вдвоем ни под луной, ни под солнцем!

И то, что он видит все это и еще многое другое, о чем он не говорит, но что копится в его застывшем мальчишеском теле и стареющей болезненной душе, разве помогает ему, разве возвышает

его?!

Всякий раз, когда сквозь дверь, в форточку или из-за стены, где он прячется, Ержан видит в синей тьме Айсулу, Кепека и осла, единственное, чего ему хочется — схватить двустволку деда или кухонный нож бабки, на худой конец железнодорожный молоток самого Кепека, выскочить им навстречу и перестрелять, перерезать, перебить всех троих. Но всякий раз что-то останавливает его. Что это — он не может никак разобраться, мучается ночью до утра, мучается с утра до вечера, но решения не находит, как школьник, потерявший тетрадку.

И опять его бунт откладывается на завтра. Уж если так ведется на свете, то все его мучения, все мысли, бегущие потоком, поземкой, бураном, — разве же не дерьмо небес, и разве же это не жизнь его, а песня?!

* * *

И в то же время не песня, скорее, та самая цепная реакция пошла по жизни Ержана. И не только по его жизни, хотя все началось с его ненависти то к деду, то к бабке, то к Кепеку с ослом, то к Шакену-коке... А может быть, внезапная взрослость, пробивающаяся даже сквозь застывшее мальчишеское тело, стала давать знать о себе таким образом — как бы то ни было, Ержан стал подмечать вещи, которых он не замечал раньше. И не только как, скажем, Кеpek сидит на осле, обнимая тело Айсулу (хотя это было большее всего), нет, он стал замечать, что, когда Шакен-коке уезжает на свою вахту, Кеpek-нагаши то и дело пропадает на дому у городской невестки Байчичек, выпроваживая старуху Шолпан под разными предложениями к своей матери Улбарсын. Считается, что он ходит то за солью, то за гвоздем, а то помочь разделать кости — как уж повелось: чуть ли не одно хозяйство! Но чем он там занимается, когда Айсулу прибегает к Ержану рассказать, что происходило в школе, — никто не знает.

Возвращается он оттуда весь раскрасневшийся, возбужденный, как будто не кость, а целую корову порубал на куски, потом, схватив свой молоток и насвистывая ему лишь известную мелодию, уходит,

незакутаный и пыхтящий, сменять своего отца на стрелке или на запасном пути.

А однажды сама Айсулу призналась по секрету, что мать ее носила ночью похлебку, дескать, как-никак он рубил эти кости, мерзнет, небось, бедолага, ведь, почитай, чуть ли не брат их дому...

* * *

А что, Шакен-коке, что ли, лучше его?! Однажды, когда и дед, и Кепек-нагаши принимали какой-то особый, литерный поезд, а бабка Улбарсын пошла к бабке Шолпан мыть голову кислым молоком, Ержан услышал осторожный стук в соседнее окно — окно его матери Канышат. Ержан прислушался, в соседней комнате зашуршали шаги, он поначалу подумал, что это птица бьется о стекло от холода, и, чтобы не спугнуть ее своей тенью, незаметно глянул по касательной вдоль своего окна, прячась в угол комнаты. То была не птица, то был Шакен-коке. Почему он не стучится в дверь? — подумал Ержан, но, услышав скрип соседней двери, в страхе оказаться обнаруженным за подглядыванием, вжался спиной в стену. Однако, слава богу, мать не открыла его дверь, а выскользнула наружу, видимо, накидывая на ходу свою верблюжью шаль.

Ержан стоял с колотящимся сердцем, отдающим свои удары прямо в стенку, или это тяжелый литерный поезд застучал по рельсам, откликаясь пульсом в земле? Как бы то ни было, Ержан стоял ни жив ни мертв. Опять то самое ощущение животного страха поднялось из мелко дрожащих колен к солнечному сплетению и заняло горячей тяжестью в животе.

Мать проскользнула мимо, и там, под ее окном, откуда были видны лишь силуэты двух фигур, они стали говорить о чем-то, чего Ержан, весь превратившийся в слух, никак не мог разобрать. О чем они могли говорить там, на белом и твердом снегу, пуская горячий пар изо ртов, Ержан так и не узнал. Да и говорила ли его немая мать или лишь этот пар Ержан принимал за слова — кто его знает. Но этого Ержан не стал рассказывать даже Айсулу.

* * *

А потом и бабка Улбарсын, как-то засыпая и заговариваясь, пока Ержан наминал ей узлы на старческих ногах, стала бормотать о деде, которого не было дома. Мол, все эти ревматические узлы на ее ногах из-за него, что, дескать, в молодости, когда они только приехали в этот Кара-Шаган, мужа Шолпан Нурпеиса вызвали на обучение в город, и что Даулет остался единственным мужиком на обе семьи, и той зимой он снарядился на свою стрелку, строго наказав Улбарсын не выходить на холод: вон, дескать, воют шакалы, а сам взял свою двустволку да железнодорожный молоток и вышел в пургу.

Долго сидела Улбарсын одна, и ведь скука пуще страха, завернулась в шаль и пошла к своей подружке Шолпан. Подходит к ее двери, а от снежного ветра навесная металлическая петля так и стучит по двери — так-так-так! Стала и Улбарсын стучаться в дверь, но сочла ли Шолпан это стуком все той же металлической бляшки, никто двери так и не открыл. Тогда она подобралась по сугробам к единственному светящемуся окну и лишь только глянула в просвет между сетчатыми расшитыми занавесками, как увидела там своего мужа. Дух ее захватило от гнева, и, захлебнувшись морозным воздухом, она свалилась без чувств в сугроб.

Поздней ночью ее, промерзшую до костей, нашел Даулет и притащил к себе домой, чтобы материть и плакать одновременно. А объяснил он ей, что к Шолпан забежал за фонарем Нурпеиса. Но если не шрамом недоверия на душе, то уж вот этим ревматизмом в костях и мышцах Улбарсын осталась навсегда та ночь...

* * *

Что было правдой в этих словах, а что выдумкой, Ержан уже не разбирал. То было его внутреннее естество, распирающее самое себя, тогда как тело его застыло раз и навсегда. Он вспоминал тот самый жыр, что дед пел в свое время Петко, о полых соломинках, текущих в потоке, биясь то о камень, то о ветку, склонившуюся над водой. Вот и он — такая же оборванная соломинка: то стукнется о камень, то о

травинку, то о былинку, и как бы ни свистела-свиристела душа, а несет его поток к тому самому мертвому затону, где никакой живой травы, один ил. И все, что остается от этого пути — лишь дуновение воздуха сквозь полое нутро, напоминающее слабую, еле слышную песню... Жыр...

Часть третья

Соль ми-фа

Мы отвлеклись на дорожные рассказы, а между тем наступил вечер. Какими словами передать тоскливое чувство степного вечера, одинокого поезда, идущего сквозь него? Как передать слабую песенку воздуха, пронизывающего соломинку? Я пытался вспомнить стихотворение, кажется, Иннокентия Анненского “В вагоне”, которое ближе всего передавало эти чувства:

*Довольно дел, довольно слов,
Побудем молча, без улыбок,
Снежит из низких облаков,
А горний свет уныл и зыбок.*

*В непостижимой им борьбе
Мянутся черные ракиты.
“До завтра,— говорю тебе, —
Сегодня мы с тобою квиты”.*

*Хочу, не грезя, не моля,
Пускай безмерно виноватый,
Глядеть на белые поля
Через стекло с налипшей ватой.*

*А ты красуйся, ты — гори...
Ты уверяй, что ты простила,*

*Гори полоской той зари,
Вокруг которой все застыло.*

Но полоска зари, вокруг которой все застыло, быстро сошла на нет, и мы оказались в темноте, не включая нарочно света в купе. Видя мое оцепенение, Ержан ушел курить в тамбур, да и старик, лежавший на противоположной нижней стороне купе, как-то незаметно пошел умываться в другой конец вагона, а потом, скоро возвратясь, опять улегся, не обронив ни слова и отвернувшись лицом к стене.

Некоторое время спустя вернулся Ержан, но, мне показалось, безо всякой охоты к разговору. Да и я все еще находился в каком-то летаргическом состоянии после степного заката, после стихотворения, извлеченного из черт-те какой глубины.

Я тоже вышел в тамбур, постоял, упершись глазами в сплошную степную темноту, наспех умылся в туалете и вернулся в купе, чтобы застать там обоих моих спутников храпящими.

Тогда я расстелил постель и лег, но сон никак не шел.

* * *

Дневная степь с бесконечными столбами вставала перед моими глазами, как какая-то бесконечная музыка, с нотами, тактами, но смысла ее я никак не мог разобрать. Чем же кончилась эта история, пытался я вообразить, глядя краешком глаза на верхнюю полку, где, свернувшись калачиком, лежал третий жизнью мальчишка. Ну не обманывал же он меня, потом я видел его паспорт, да и, в конце концов, даже если он и вундеркинд, не может же он быть вундеркиндом во всем — и играть на скрипке как бог, и рассказывать свою жизнь, как степной сказитель, и обманывать меня, как опытный шулер или актер. Слишком много на одно шуплое тело, чтобы все это было розыгрышем.

Так что же произошло между тем, как случилось *то* и сегодняшним днем, а вернее, ночью, в которой я никак не мог уснуть?

Подобно тому, как чертилась линия нашего поезда по степи, я пытался расчертить линию между тем, что я услышал, и тем, чего я не

знаю.

* * *

Айсулу росла неудержимо. Она уже чуть ли не сравнялась ростом с Кепеком. И при всем этом она как будто не замечала того, что Ержан остановился в росте, что он ей едва по плечо. После школы она бежала, чтобы рассказать ему о своих успехах, о том, что играла сегодня на скрипке то, что Ержан играл еще три года назад. И это пренебрежение *тем, что с ним происходило*, бесило Ержана больше всего. Он не слушал ее. Лежал, уставившись в белый потолок, не вставая с кровати, чтобы не выглядеть смехотворно маленьким перед ней, а она, она ничего этого не замечала. Или делала вид, что не замечает.

Откуда было знать Ержану, что и она плачет по ночам, укутавшись с головой в одеяло, что и она мечтает поскорее вырасти, чтобы выучиться на доктора и найти такое средство, которое вытянет ее Ержана.

* * *

Сам Ержан редко теперь спал по ночам — не то чтобы он отсыпался днями, просто сон не шел в глаза. Он ворочался с боку на бок в кругу одних и тех же надоедливых мыслей, которые невозможно было ни побороть, ни принять. Какая-то неразрешимая музыка, запутавшаяся между домброй и скрипкой, пилила его нутро.

“Но недолго наслаждался храбрый Гесер своим счастьем и покоем. С севера на его страну напал страшный демон Лубсан. Правда, жена людоеда Лубсана Тумен Джергалан влюбилась в Гесера и выдала тому тайну своего мужа. Гесер воспользовался тайной и убил Лубсана, тогда Тумен Джергалан напоила его напитком забвенья, чтобы привязать к себе. Гесер выпил напиток, забыл про свою любимую Урмай-сулу и остался у Тумен Джергалан.

Между тем в степном государстве поднимается смута, и Кара-Чотон женится насильно на Урмай-сулу. Но Тенгри не оставляет

Гесера и избавляет его от наваждения у самого Мертвого озера, где он видит отражение своего волшебного коня. На этом коне он возвращается к себе в степное государство и разбивает Кара-Чотона, освобождая свою Урмай-сулу...”

Он вспоминал эту стародавнюю сказку из детства и, поскольку твердо знал, кто является Кара-Чотоном в его жизни, пытался разгадать ночами, кто же тогда этот страшный демон Лубсан? Дед Даулет? Но его жена — это бабка Улбарсын. Не может же она быть влюбленной в него! Не получалось и с Петко, поскольку у того и вовсе не было жены! Шакен-коке? Может ли Байчичек быть Тумен Джергалан? А потом, должен ли он убить Шакена? Ну, никак концы не сходились с концами, хотя каким-то шестым чувством Ержан понимал, что эта сказка, как и те жыры, что он проигрывал в своей голове, — о нем и что ему следует разгадать эту тайну, которая вцепилась в него, не отпуская...

* * *

Зона! Зона! — вот страшный демон Лубсан, — думал он другой ночью. Это Зона захватила его в плен. Это она напоила его напитком забвенья. И пока он не достигнет Мертвого озера — того самого озера, в котором он некогда искупался, он никогда не освободится от наваждения. Ведь говорит сказка, что там, у Мертвого озера, Тенгри избавит его от наваждения и покажет ему собственное отражение и отражение вольного коня, на котором он скакал все свое детство! И тогда он решился.

Той поздней осенью, когда Айсулу стала ездить в школу сама, когда дед спал после ночной смены, а Кепек уходил замещать то Шакена у Байчичек, то своего отца на запасных путях, когда старухи сидели на теплом солнце и грели кости за разговорами, Ержан садился на коня и скакал по степи в сторону того урочища, где начиналась Зона. С самого детства, с тех самых поездок то с Кепеком, то с Шакеном, он знал все входы и выходы, надо лишь следовать вниз по высохшему руслу реки, и она выведет тебя в страшное пространство.

Ержан изучал Зону постепенно, ведь страх, который сидел у него в паху и каждую минуту мог подняться через солнечное сплетение к глотке, был необорим, он пульсировал в его крови, в его дыхании, что-то не давало ему остановиться.

Осень была долгая и солнечная. Ничто не мешало Ержану скакать все дальше и дальше: от того Мертвого города, что он видел когда-то с Шакеном-коке, по сухому и красному руслу реки. Он обнаруживал гигантские кратеры в развороченной степи, как будто Луна или Марс решили увидеть свое отражение, чтобы, как и он, избавиться от наваждения. Он видел остатки каких-то сооружений, торчавших из расплавленной земли, как культы неведомых существ. А как-то он увидел торчащую из земли наискосок бетонную стену, в которую был впечатан обугленный степной карагач с черными птицами. Был ли это рисунок на стене, или же живое дерево с живыми птицами впечатало в эту стену, Ержан так и не разобрал, он скакал все дальше и дальше сквозь марсианский пейзаж.

* * *

Возвращаясь после этих вылазок, Ержан незаметно проникал к себе в комнату и опять ложился в кровать, не прикасаясь ни к давно забытой домбре, ни к пылящейся в стенной нише скрипке. Здесь, среди постоянного гуда то старух, то поездов, то дальнего радио или телевизора, он ощущал, как тиха — до звона в ушах — была Зона, и вдруг понимал, что эта тишина сродни вечному молчанию его матери. А может быть, мать его — молчащая Канышат — и есть разгадка всех его тайн?! Может быть, никакое не Мертвое озеро ему следует искать, а лишь избавить свою мать от ее наваждения, разговорить ее, и тогда чары спадут с его тщедушного тела, и опять конь его детства поскачет наперегонки с его Айсулу?!

Но мать, как и всю его жизнь, лишь заходила тенью в комнату, то принося ужин, то забирая белье в стирку, то просто глядя на уснувшего сына и давясь от молчаливых слез. Не Мертвое ли озеро билось в ней в эти мгновения?

* * *

И хотя Ержан понимал своим враз состарившимся умом, что Мертвое озеро не так уж близко, чтобы доскакать до него за все сокращающийся день на коне, но что-то сильнее страха и острее надежды влекло его день за днем во все более знакомую и родную Зону. И впрямь, какое-то наваждение, забытье охватило все его существо: не только домбру и скрипку забыл он, не только деда, Петко и Дина Рида, но даже и Айсулу. Дорога к Мертвому озеру вдоль русла высохшей реки, дорога к самому сердцу этой молчаливой Зоны, стучала теперь однообразным голым ритмом и скачущего коня, и бьющегося сердца, и пульсирующего виска, и не было в этом ритме места никакой музыке.

Ранним утром 22 ноября лишь только дед вернулся с ночного обхода, Ержан не стал дожидаться появления ни сонного Кепека, ни бодрой Айсулу, а незаметно выскользнул из дома и вскочил на еще теплого, не остывшего после деда коня. То ли от скорой смены грузного всадника, то ли по утреннему часу, но Айгыр скакал так легко, будто не ветер неся ему навстречу, а он своим движением оставлял этот ветер за спиной. Ержан был так опьянен этой скоростью, этим полетом, что только внутри Зоны вдруг обнаружил между подпругой и путлицем забытую дедову двустволку. Но возвращаться было поздно, и Ержан поскакал дальше, как настоящий джигит чуя икрами металл дула.

Ружье как-то само по себе заставило его вспомнить их лисью охоту, и вдруг страшная мысль, что все *это* случилось оттого, что они отняли у матери-лисы ее детеныша, как взрыв взметнула все его существо; на мгновение показалось, что конь выскальзывает из-под него. Ержан насилу удержался в седле, и тут то самое слово — *калтарыс* ударило в его сознание. Да, вся жизнь его была калтарыс за калтарысом, пока не пришел тот самый *улуу калтарыс* — большой, великий разворот, и вот теперь он валяется нестрелянной тушкой, загнанный со всех сторон...

Мысли его мчались на коне, не отставая от его тела. Внезапно он понял, что и несуществующая, высохшая река виляла из стороны в сторону по законам того же самого *калтарыса*: она протекала от урочища его рождения до мертвого городка, потом резко сворачивала, пока не доходила до лунных кратеров. Здесь она совершала еще один поворот и шла аж до самой бетонной стены с опаленным карагачом и впечатанными птицами. Теперь-то разгоряченный Ержан твердо знал, что на очереди *улуу калтарыс*, и скакал все быстрее и быстрее, хлеща Айгыра плеткой...

* * *

И вот, когда солнце стало отставать в погоне за ним, он вдруг увидел прямо посреди степи маленький выступ. Конь скакал так быстро, что вскоре Ержан понял, что перед ним то ли собака, то ли лиса, а то ли волк. Еще минута скачки — и он знал, что его дожидается одинокий волк, вышедший на свою предзимнюю охоту. Но Ержан не торопился замедлить бег Айгыра, хотя и волк, не шевелясь, выжидал. И тогда Ержан выхватил двустволку из-под подпруги и путлица и, не целясь, а так, чтобы лишь напугать, пальнул из одного ствола в воздух. Волк бросился наутек в том направлении, куда скакал Айгыр, и Ержан невольно пустился в погоню. Он улюлюкал что было сил, волк бежал без оглядки. Так они скакали некоторое время, пока волк внезапно не исчез, как провалился...

Что это было? Мираж, выросший из воспаленного воображения? Соль, сверкающая на осеннем ярком солнце? Затон сгнившей с лета воды? Другой берег того самого Мертвого озера? Он доскакал до места, где волк вдруг пропал, и увидел впереди обрыв. Он осадил коня чуть правее, где берег был пологим, он не дал коню ни скакать по пологому берегу к близкой воде, ни испить ее после долгого и безостановочного бега, а накрепко, двойным узлом привязал узду к расплавленной рельсе, торчащей из-под земли, и, держа в руках ружье со вторым патроном, пошел к воде. Волка не было.

Вода была темно-синей, как будто к голубизне отраженного неба она прибавила и свою голубизну, а потому и Ержан отразился в ней смутным пятном. Или же глаза мальчишки устали от непрерывной скачки, когда лишь желтая степь маячила перед его глазами. Сначала ему захотелось напиться этой густой воды, но он не стал терять времени, не раздеваясь, соскользнул с берега прямо в одежде, с ружьем в руках, ногами вперед. Прохлада обдала его тело, и когда он ожидал уйти под воду с головой, вдруг какая-то сила вытолкнула его тело, и он оказался лежащим на поверхности воды, как лодка. Что это была за сила? Не ружье же держало его на плаву! Ержан читал как-то, что в Мертвом море, существующем между Иорданией и Палестиной, нельзя утонуть, так пересолено оно, и тогда он попробовал воду на язык, но иссохший его язык не опознал соли. Он лежал в этой воде и не соображал — происходит ли это наяву или во сне. Тело его качалось и таяло, и вдруг он ощутил, как оно вытягивается все больше и больше. Так напрягался смычок его скрипки перед игрой, так вытягивались струны при настройке. Сейчас смычок коснется струн, и зазвучит музыка...

И вдруг он вспомнил Петко, и вдруг он вспомнил в этой воде его сказку: “Давным-давно жил мальчик, звали его Вольфганг. Ты знаешь, что означает это имя? Идущий волк. Был этот мальчик так талантлив в музыке, что играл на любом музыкальном инструменте с завязанными платком глазами. Однажды ночью, когда Вольфганг не спал, а выглядывал среди звезд ноты для своей музыки, к нему спустилась с неба среброликая луна и стала, танцуя, увлекать его за собой на улицу, на речку, на озеро... Мальчика спасли не то люди, не то русалки, не то эльфы. И с тех пор, хоть и жило, и росло его тело, но душа так и осталась в той ночи, на том озере, очарованная навеки луной, ее серебристой дорожкой, полной волшебной музыки и танцев...”

Ах, вот о чем оно, это озеро, ах, вот о чем пропавший в нем волк, ах, вот о чем этот заговор... Но душа его была легка и невесома, как будто растаяло в этой горькой воде его маленькое тело, и ему так хотелось сохранить это ощущение, не расплескать его, что он весь превратился в ожидание и в слух. Ах, как легка была душа, и как тело

было текуче. Как “Лакримозо” Моцарта, вдруг растекшееся над водой...

* * *

Он скакал на коне обратно по степи, и солнце за спиной все удлиняло его тень, как будто спало с него наваждение и теперь он вернется в тот мир, где его ждет тонкая и статная Айсулу. Он скакал по степи на коне, с ружьем в руке, и чувствовал себя опять Дином Ридом в одном из его фильмов об индейцах, где тот играл ковбоя Джо. Он пел теперь во весь голос, во всю грудь, во всю степь, во все небо:

*My love is tall, is tall as mountains,
My love is deep, is deep as a sea...*

*Моя любовь высока, высока, как горы,
Моя любовь глубока, глубока, как море...*

На самом закате, когда его тень, убегающая от солнца, распласталась по степи так, что не было видно ей конца, низкое солнце, оставшееся за спиной, высветило холмы его урочища, и в закатном свете он увидел двух коней, видимо, привязанных к кусту тамариска. Сердце Ержана забилося учащенно, Айгыр, почуяв что-то, перешел на вкрадчивую рысцу. По мере того как Ержан приближался к месту своего рождения, не песня Дина Рида, наполнявшая его легкие до сих пор, а всего два слова — *улуу калтарыс* опять стали стучать в такт сердцу, пульсу, дыханию.

И вдруг он увидел то, что боялся увидеть всю свою жизнь и что предвидел всем своим запуганным нутром: внизу среди песчаника высохшего русла лежала, распластавшись, Айсулу, и над ней то и дело склонялся Кара-Чотон — ненавистный Кепек-нагаши. Ержан осадил коня и, спешившись, обхватил дедовское ружье обеими руками. Не привязывая коня, он лишь махнул рукой и шикнул, и послушный конь молчаливо стал. Как в ковбойских фильмах,

перебегая от куста к кусту, Ержан подкрался на расстояние оклика, прицелился и выпустил оставшийся патрон...

Страх, сидевший в нем всю жизнь, встрепенулся, коснулся солнечного сплетения, взлетел и вырвался неистовым детским криком. Кепек рухнул, как мешок, на Айсулу. Ержан бросился к ним — и в последнем ужасе увидел, как бинт, теперь уже в крови его дяди, словно полоска заката, выпал из рук Кепека на белую ногу Айсулу, так и оставшейся перевязанной наполовину...

Айсулу в поисках его сломала ногу...

* * *

Нет, я не стал додумывать эту историю до конца, слишком страшна была она для этой тихой степной ночи, по которой стучал поезд, и в такт которому билось мое сердце. Мальчишка на верхней полке бормотал что-то сквозь сон, старик напротив меня нервно похрапывал, как только что заколотый баран. Что за кошмар?! — подумал я и, свалив свои страхи на спертый воздух купе, встал и приоткрыл дверь. Из тамбура повеяло прохладой. Я решил подождать, пока купе проветрится окончательно, а потому не стал ложиться.

Поезд неумоимо бежал по ночной степи. Редкий огонек, а может быть, пробившаяся сквозь толщу темноты звезда медленно огибала поезд. Когда купе наполнилось остывшим ночным воздухом, я осторожно закрыл дверь, но, будто повинуюсь моему движению, и поезд стал замедлять ход и вдруг с обычным ночным скрежетом остановился на каком-то полустанке. Я прислушался. Издали зашуршали по галечной насыпи чьи-то прерывистые шаги. Они то останавливались, то раздавались все ближе и отчетливей. Наконец где-то под нами сверкнул на мгновение фонарь, раздался стук молотка о колодки, и дребезжащий казахский голос произнес в темноту: “Сондай! Шешенды...” — “Вот так! Мать твою...”

По какому поводу он сказал эти слова, я не понял, но мне внезапно захотелось растолкать Ержана, и я насилиу сдержался...

* * *

Ержан спал, как обычно, беспокойным сном. Они только что похоронили бабуку Улбарсын, и старухи со всей округи во главе с местной эмчи¹², Керемет-апке, камлали да читали свои молитвы в доме у Шолпан-шеше. Дед, потерявший жену, крепился, крепился во время похорон, но на третий день как-то разом обмяк и слег. Один Шакен-коке, только что вернувшийся с вахты, то рубил дрова для очага под огромным котлом, то бегал на пути, то резал очередного барана на *кудайи*¹³.

Странно умерла бабка. Поздней осенью узлы на ее ногах стали распухать, и сколько Ержан ни мял эти узлы, они становились все больше и больше. “Эх, бултур ким, не вырос ты побольше, не стал потяжелее!” — с каким-то откровенным укором обращалась теперь к нему бабка.

Как и при всяких болезнях, городская Байчичек уговаривала своего мужа Шакена свозить старушку Улбарсын в город на тот самый “рентген”, но бабка наотрез отказалась и заставила своего мужа везти ее на верблюде к местной знахарке — Керемет-апке. Та пощупала пульс бабки, помяла косточки на пальцах и завела ее за полог, чтобы одним взмахом руки разделить полог ровно надвое, и вдруг начала, сидя рядом с бабкой, взывать то к Тенгри, то к пророку Махамбету, то к его периште — ангелу. Она качалась из стороны в сторону, все больше и больше горячась, потом схватила со стены камчу и принялась сначала лупить этой плеткой по своим коленям, а потом слегка по ногам старушки, приговаривая при этом: “Жин урды! Жин урды!” — “Бес попутал! Бес попутал!” И когда из ее рта пошла пена, она махнула рукой своей дочери, стоявшей у двери: “Апкельши!” — “Неси!” — и та в мгновение ока обернулась с раскаленной бараньей лопаточной костью, которую Керемет-апке облизала шипящим языком и приложила через бархатные штаны к ногам бабки Улбарсын.

¹² Знахарка.

¹³ Поминки с жертвоприношением.

“Девять и девять дней корми черного винторогого барана и заколи его на сейсенби!”¹⁴ — повелела она. “Обмажешь теплой кровью ноги и будешь скакать, как двухгодовалый джейран!”

Увы, в их отаре не было черного винторогого овна, и дед поскакал в очередной базарный день в районный центр на скотный двор, откуда привез на привязи не барана, а настоящего рогатого шайтана. Он брыкался и бодался, не давался в руки: дед с Шакеном еле справились с ним, привязав узлом не только за шею, но на всякий случай, чтобы тот не перебодал всю отару, и за ноги.

И хоть дед приволок овна в воскресенье, бабка Улбарсын рассчитала, что кормить она должна начать с пятницы, чтобы девять и девять дней выпали на вторник. В следующую пятницу она сама поднялась с постели, в которой лежала, не вставая, почти всю осень, и мелкими шагами пошла сначала к сену, потом к загону, где был привязан этот шайтан, и бросила охапку сена перед ним. Так она делала дважды на дню, и ее ноги крепчали, и шаг становился все увереннее и увереннее.

Овен жирел, бабка здоровела, узлы на ее ногах уменьшались. В ночь на назначенную сейсенби, откормив сроднившегося с ней шайтана, с которым она теперь подолгу разговаривала, бабка бодро вернулась в дом и затеяла совет с дедом: “Даулет, как ты думаешь, следует ли нам завтра резать этого барана?” — “Неге сурайсын?”¹⁵ — удивился дед. — “Да, вот, подумала, и ноги у меня расходились, и привыкла я к нему как-то...” — “Давай спать. — сказал дед. — Мне выходить на 5.27!”

На следующий день, несмотря на ворчливое сопротивление бабки, все же решили резать барана. Дескать, обмажем теплой кровью не только твои ноги, но и ноги Ержана — как знать, авось поможет. Шакен с дедом Даулетом пошли вязать овна, а бабка села у двери, готовя ноги к процедуре. Ержан сидел чуть поодаль от бабки, глядя на происходящее не столько с надеждой, сколько из досужего

¹⁴ Вторник — восходит к поверью, что вторник, равно как и число девять — счастливые дни.

¹⁵ Почему спрашиваешь?

любопытства.

И вот когда Шакен снял веревку с шеи овна, чтобы завалить его на бок, окрепший от отменного питания шайтан вдруг, хрипя, взбрыкнул у него в руках, одним движением опрокинул хозяина и бросился из загона что было сил в сторону бабки. Он летел к ней, как дети бегут в смертельном испуге в объятия своей матери, как прирученный беркут летит на руку к охотнику, как детеныш лисицы летит к своей норе...

Со всего разбега этот откормленный винторогий и черный шайтан врезался в старуху и забодал ее насмерть.

Его зарезали в тот же день, но не как предполагалось — на излечение старухи Улбарсын, а, как оказалось, на ее похороны...

* * *

В этой кутерьме с внезапной смертью бабки конечно же забыли смазать теплой кровью ноги Ержана, так и остался он заговоренным. Ну да ладно с ним, он уже привык, а вот дед, который окунул руки по локоть в кровь этого винторогого шайтана, слег на третий день после смерти бабки. “Обессилел!” — говорил он кротким голосом Шакену и Ержану, и вот Шакен стал водить с собой на пути Ержана — то проверить стрелку, то, когда звенел их служебный телефон, поворачивать ее на пережидающий поезд. Ержан слышал, как Шакен регулярно докладывал диспетчеру путей о состоянии здоровья деда и просил себе сменщика.

Нет, дед не умер в тот раз, он встал через девять и девять дней, окрепший, бодрый и сам ходил на могилу к старухе почитать патиху¹⁶. К тому времени Шакен-коке опять уехал в Зону, и Ержан теперь сидел у служебного телефона на случай, если вдруг вызовет диспетчер.

Следующей умерла Шолпан-шеше. Это было ранней весной. То ли долгая зима, проведенная в доме, ей наскучила до смерти, то ли

¹⁶ Молитва.

она истосковалась по своей стародавней подруге Улбарсын, но по ранней весне, когда растаял снег и стала подсыхать земля, она принялась ходить вдоль железной дороги в обе стороны. Когда Айсулу была дома, она сопровождала старуху, при этом, правда, занимаясь своими делами: то нарвет маков, чтобы сплести себе венок, то накопает подснежников и принесет их бело-желтыми свечками, торчащими из комочка мягкой глины в ее руке.

В тот день Айсулу была в школе, Шакен-коке — на вахте, Байчичек с Канышат стирали набравшееся за зиму белье, дед спал, приняв с утра на запасной путь тяжелый товарный поезд, что стоял неподвижно вот уже третий час, а Ержан сидел у служебного телефона, ожидая, когда наконец проедет скорый литерный и деду прикажут менять стрелку для отправки товарняка. В то солнечное утро старушка Шолпан пошла на прогулку сама. Маки бились о ее ноги, но она шла, в черном камзоле и зеленом широком платье, как тополь, прямая и статная, заложив руки за спину. “Вот в кого Айсулу!” — подумал с горечью Ержан, мимоходом увидев ее в окно, но фигура тут же пропала.

А случилось вот что: черный петух, намявший с утра кур, полагая, что старуха вышла его кормить, бросился за ней. Ничего не подозревавшая старушка шла вдоль железной дороги и вдруг увидела под ногами кусок лепешки, видимо, выброшенный каким-нибудь капиром¹⁷ — не будут же сарты бросаться хлебом — из окна одного из прошедших поездов. Она наклонилась, подобрала хлеб, трижды поцеловала и бросила этот хлеб под стоящий товарный поезд — дескать, уедет поезд, подберет птица. Петух же, увидев это, бросился под стоячий вагон, и еще дальше, за рельсы, клюя размякшую лепешку. Старушка не ожидала такого, потому что никогда не подпускала домашнюю птицу близко к железной дороге. Она оглянулась на стоячий поезд и, согнувшись, нырнула под него, чтобы прогнать петуха назад, но тот был так увлечен поглощением пищи, что лишь мотал головой из стороны в сторону. “Балапанын канатынын астына тыккан кэри тауктай отырмай ол!”¹⁸ — ворчала

¹⁷ Неверным.

¹⁸ Сидишь тут, как наседка с цыпленком под крылом, лучше бы ты сдох!

она, перелезая из-под вагона на насыпь. А в это время, свистя и гудя, налетел на соседний путь скорый литерный поезд. И хотя расстояние между поездами было достаточным, чтобы уберечься, но широкое зеленое платье Шолпан-шеше мгновенно раздулось от вихря, одна из подножек подцепила ее подол и поволокла бедную старуху вдоль насыпи, пока сатин не изорвался в красные от крови куски...

* * *

Странно, но только после смерти двух старух Ержан стал различать своих домочадцев. До той поры они были все как одно, если Шолпан-шеше ругала, то бабка Улбарсын пошлепывала, если мать Канышат месила тесто, то Байчичек-келин лепила лепешки. А тут вдруг все разлетелось на куски. После смерти Шолпан-шеше, которую похоронили в таком же заново выстроенном мазаре рядом со старухой Улбарсын и ее мужем Нурпеисом, городская Байчичек стала откровенно настраивать Шакена-коке на отъезд в город: дескать, держала тебя здесь мать, но вот и ее теперь нет. А что нам пропадать здесь, на богом забытом полустанке?! Шакен уводил разговор в сторону: то, мол, вот вернусь со следующей вахты, сядем все и поговорим, то, вот проведем годовщину смерти матери, а потом и решим. Но, по словам Айсулу, Байчичек-келин настаивала на своем все больше и больше. И вот тогда Ержан понял, что эти две семьи объединяли старушки — Улбарсын и Шолпан. Теперь его мать Канышат совсем перестала ходить в соседний дом.

Вот тут-то Ержан и пригляделся наконец к своей матери. До сих пор она была для него неким присутствующим отсутствием: растила его вся семья, а более всего — дед да две бабки. Со смертью обеих и дед перестал хорохориться. Только теперь Ержан стал замечать, что мать ни на минуту не прекращает работать: то состригает шерсть с козьей кожи, затем опрыскивает кожу теплой водой, сворачивает в трубочку и кладет к самой печке. Тем временем, пока кожа преет, чтобы волосяные корни повывлезли из нее, мать начинает вить веревку из только что состриженной шерсти. Закончив это дело, месит тесто. Укутав тесто, приносит надоенное молоко, разливает часть по посуде,

в которой к утру образуются сливки, а часть заквашивает на кислом молоке. Потом берет давешнюю трубочку козьей кожи и начинает ее скоблить, затем, высушив над огнем, кладет ее в кислое молоко и оставляет на несколько дней замачиваться. К вечеру она зашивает порванную одежду, варит похлебку, стелит постель — словом, с утра до ночи не прекращает работать...

И если Ержан теперь убивал время тем, что ничего не делал, его мать Канышат, напротив, как бы вытягивала жизнь из своего тела неустанным трудом.

* * *

То ли мать, то ли тоска от предстоящего отъезда семьи Шакена, а более всего выросшей и расцветшей Айсулу, заставила Ержана в один из предлетних дней, когда никого не было вокруг, взять в руки скрипку — и положить ее обратно он уже не смог. Всю свою тоску, впрессованную в его щедедушное тело, пытался он излить в музыку, но ни тоска не прекращалась, ни музыка не вмещала всего накопившегося. Его обнаружил за игрой только что вернувшийся с вахты Шакен, который с радостью обронил, что видел в городе Петко, и тогда Ержан твердо решил, что на следующий же день поедет к своему учителю. Но на следующий день дед поскакал на коне по делам, оставив его дежурить на телефоне, потом, через день, Шакен поскакал на коне в школу, справиться об экзаменах Айсулу, словом, так и не дождавшись Айгыра, через несколько дней Ержан сел на своего ишака и засеменял на нем в сторону ПМК. Скрипка висела за плечом, как винтовка, и хотя утренняя тень его, семенившая впереди, все сокращалась, все же на какое-то мгновение он опять почувствовал себя, пусть только в мыслях, ковбоем.

*While the men keep on dying
And the women keep on crying
The war keeps on and on... —*

пел он о том, что война продолжается. Где-то через час, когда он достиг гусеподобного бетонного строения, торчащего в степи, как балбал¹⁹, и решил передохнуть в его тени, небо вдруг стало темнеть. Оно темнело столь быстро, что Ержан решил, это просто яркий солнечный свет, разлитый по степи, утомил его зрение. Но то чернели будто набежавшие на небо облака. “Смерч!” — догадался Ержан, и небо стало не желтым и пыльным, как при степных смерчах, а совершенно черным. И только солнце сверкало в нем невероятным светом. И внезапно страх, который всегда сидел у него в поджилках, накрепко застрял в солнечном сплетении: мальчишка был один на весь черный свет, если не считать бешено вопящего ишака. Но и голос ишака уже не был слышен. Его поглотили гул и завывание степного ветра. Земля начала трястись, раздалась громовые раскаты. Ветер нес по степи горящие клубки перекасти-поля, и вдруг в небо взметнулось еще одно солнце, и влекомый уже не умом, а инстинктом Ержан бросился в яму, под самый бетон, куда рухнул и его ослик. Скрипка хрустнула, издала последний визг, и свирепый вихрь воздуха с оглушительным гиком пронесся, сбывая все над ними, чтобы серый, пепельный свет встал над миром...

А потом пошел горячий слепой дождь...

Ержан валялся на дне, в грязи, крови и слезах, — ослик его мгновенно облез.

Он доехал таки до ПМК, но от ПМК остались два развороченных, оплавленных трактора и развеянный по степи черный пепел вагончиков... Где-то одиноко выл умирающий волк...

* * *

Когда он вернулся на свой полустанок, первое, что увидел — с Капты слезла вся шерсть, и везде — от железной дороги и до дома — трава за какой-то один день выросла густой и высокой... Трава. Но не он...

¹⁹ Каменное изваяние.

Я не стал продолжать эту мысль. Ночь за окном вагона была столь темной, что я сам испытал на себе тот самый страх, что не раз испытывал Ержан, лежавший сейчас умиротворенно на верхней полке купе. Откуда пришел этот страх? Ощущение чего-то неминуемого, скрытого, может быть, здесь, за первым поворотом, засело у меня холодом в животе, и я не нашел ничего лучшего, как перевернуться и зарыться лицом в тощую подушку. Я насильно заставлял себя подумать о чем-нибудь радостном, светлом...

Ержан состарился умом враз: он уже смотрел на красавицу Айсулу, что выросла на голову выше отца, безо всякой горечи — просто любясь. И то, что она вела себя так, как будто ничего ни с ним, ни с ней не происходило, уже не обижало его — скорее, радовало.

Люди по-разному *проживают* жизнь, думал он. Вон — дед Даулет, хоть и достиг своих почти восьмидесяти лет, а потерял все, что имел: и жену, и сына, и дочь, и внука, и друга, а теперь еще и семью друга... Или мать Ержана — Канышат. Тоже потеряла все, что имела: и девственность, и возможного мужа, и счастье, и отца, и брата, и мать, и сына... Почему же он, Ержан, должен отличаться от них?! Просто с ним все это случилось быстрее. Может быть, он уже *прожил* отпущенную ему жизнь за эти короткие двенадцать лет, за один мушел²⁰, ведь все, что дано человеку — и тепло родства, и счастье любви, и влечение надежд, и горечь разочарований, и музыку души, и страх небытия, — все это он уже пережил... Вот и он, как дед, как мать, потерял все, что имел, может быть, весь смысл этой жизни и состоял лишь в том?! Избыл, извел, износил...

*Киріде кин жок,
Жаста мін жок,
Кор боп тірі жиргенше,
Кіріп кана кетер ем,*

²⁰ 12-летний период.

*Казулы тирхан кир жок*²¹.

И опять это не утешало его. Почему *все это* случилось с ним?! За что? За то, что был не по годам талантлив? Петко ли уговорил своего таинственного волка Вольфганга увести своими волчьими тропами душу и оставить навечно лишь детское тело? Или лисица-мать, униженная посреди своей степи, а потом еще и лишенная своего дитяти, отомстила ему проклятием?! Или же то была лишь вариация, отзвук того, что произошло с его собственной униженной и оскорбленной матерью посреди его собственной степи?! Домбра ли деда и его жыры околдовали мальчишку, внушая ему *калтарыс* за *калтарысом*, пока тот самый *улуу калтарыс*, великий разворот, не развернул время в обратном направлении, наперекор природе?! Или же цепная реакция Шакена, догоняющего и обгоняющего Америку в этой забытой богом степи, случилась не в реакторе, а по ошибке в мальчишке и взорвалась в нем карликовой звездой?! Бабки ли заговорили его сопливым мальчишкой Гесером, воюющим то со своим дядей Кепеком-Чотоном, то со всем миром, а то с самим собой?! Или Айсулу, его единственная *доля* — *До-Ля* — *Domini labii* — Божии уста...

Тут из-за буйно выросшей дикой травы появилось светлое лицо безудержно росшей Айсулу, его Айсулу — и было в этом что-то пугающее, что-то похожее на внезапный скрежет камня по стеклу...

* * *

Ранним-ранним утром, когда степь сера и прохладна, как едва посветлевшее небо, Ержан проснулся от вкрадчивого стука камешком в окно.

Он пробудился разом и полностью; натренированный за

²¹ В старости нет жизни,
В молодости нет изъянов
Чем избывать жизнь в унижении?
Входит в кровь и исходит лекарство,
А вырытой могилы нет...

последние дни слух был абсолютен: стучали в соседнее, материнское окно. Может, даже чуть-чуть по нему царапали. Ержан спал все эти дни, не раздеваясь: просто валился в свою постель и под тяжестью мыслей вырубался. Без всякой задней мысли он привстал и глянул в свое окно. Это был Шакен, только что вернувшийся с вахты, — в руках у него был его обычный чемоданчик. Судя по всему, он не заходил еще к себе домой. Без всяких мыслей и чувств Ержан следил за происходящим.

Ни гнев, ни ревность — какое-то досужее и отстраненное любопытство заставило Ержана резко распахнуть окно и высунуться наружу. Было видно, как опешил Шакен-коке, как от неожиданности он уронил чемоданчик, но потом вдруг совладал с собой и замахал рукой Ержану — так, будто в окно Канышат он скребся по ошибке. “Смотри, что я тебе привез...” — выкрикнул он, обернувшись к Ержану. Нагнулся, подобрал чемоданчик и, покопавшись в нем, вытащил газету. Развернул и просунул в окно: “Читай!”

Ержан стал читать вслух: “В июне из столицы ГДР пришла печальная весть. В результате несчастного случая в Берлине погиб известный американский певец и актер Дин Рид. Как часто бывает в таких случаях, известие это вызвало на Западе разного рода инсинуации. Правые газеты пытались разыграть провокационную версию о том, что гибель американского певца якобы связана с "террористической деятельностью спецслужб коммунистического режима ГДР".

Мы позвонили в Берлин вдове американского певца Ренате Блюме... У телефона Рената:

— Любые предположения о том, что моего мужа убили, — самая отвратительная клевета. Такие домыслы только оскорбляют память о Дине, причиняя боль мне и нашей дочери. Мой муж утонул. Его нашли в озере мертвым. В последнее время у Дина резко ухудшилось здоровье: у него было больное сердце. Что касается предположения, что он хотел вернуться в США, — и это абсолютная ложь. Ничего подобного он делать не собирался. Он жил мыслью о новом фильме. Он очень любил нашу дочь. Я считаю подлым иезуитством спекулировать на смерти моего мужа и очень надеюсь, что вы точно

передадите мои слова”.

* * *

И это было отнято у Ержана. Шакен-коке стоял под окном и смотрел на него. Зачем он привез эту газету из своего города? Зачем он привез из своего города телевизор, в котором однажды назвали Дина Рида “красным Элвисом”? И ведь не знал Ержан никакого Элвиса, а потом и этого самого Элвиса показали — оказался Дин Рид как бы подделкой, но даже этого поддельного, ненастоящего Дина Рида у него теперь отнял Шакен. Так же, как он отнял и рост, и будущее, и любовь, как он отнимает теперь и мать...

Шакен как-то замялся и пошел со своим чемоданчиком в сторону своего дома...

Постой, постой, а что если он любит *его* мать Канышат?! А что если он любил ее всю свою жизнь?! Ведь дед рассказывал, как однажды он связал пьяного Шакена, который приехал с вахты ночью и полез в окно к Канышат... Ну, пьяный, что с него возьмешь? А ведь Ержан не впервые застукал его у окна своей матери... Вот, значит, почему он никак не уедет со своей городской женой Байчичек в ее желанный город...

Стоп! Тогда, перед Мертвым озером, в зоне, на шакеновском опытном участке, где он догонял и обгонял Америку, когда школьники носились в противогазах, именно он, Шакен, появился в так называемом ОЗК²² — как пришелец из других миров! И не о таком ли пришельце рассказывала всегда его бабка Улбарсын, вспоминая про чудное рождение Ержана на окраине Зоны, в том самом урочище, где река с пересохшим руслом... Так, может статься, Шакен-коке и впрямь его коке — отец!

Ержан бросился в соседнюю комнату. Мать сидела на подоконнике, может быть, впервые без дела, глядя вполоборота в окно, туда, куда удалялся Шакен. “Сен оны суйесенба?!” — “Ты его любишь?!” — выдохнул он из себя весь свой гнев, всю растерянность.

²² Общевойсковой защитный комплект.

Мать не стала оборачиваться к сыну, а лишь провела пальцем по стеклу. “Ол сени суйедиба?!” — “Он тебя любит?!” — не зная, что делать, беспомощно выпалил Ержан. Мать молча развязала косынку, встряхнула пряжей своих волос и опять повязала косынку, глядя на отражение в стекле. “Ол сенин жубайинба?!” — “Он твой муж?!” — продолжал дрожащим голосом Ержан. Мать скрестила руки на груди. В комнате повисла тяжкая тишина. И вдруг голая лампочка под потолком мелко задрожала, страх, сидящий в щиколотках, пошел вверх своим обычным путем — к солнечному сплетению, задержался холодной тяжестью в животе и медленно пополз к глотке, потом к губам, чтобы выйти то ли шепотом, то ли хрипом, то ли судорогой: “Ол менин акемба?!” — “Он мой отец?!”

Мелкий гуд шел уже по полу, комната затряслась, а мать все сидела на подоконнике, впервые в жизни не делая ничего, а лишь глядя в окно, туда, откуда шел то ли очередной поезд, то ли очередной взрыв...

Он бросился из комнаты вон. Бежать, бежать, бежать куда угодно, в открытую степь, через зону за горизонт, за край света... Так, стало быть, Айсулу, его неудержимо растущая, как дикая трава под окнами, его бедная и несчастная Айсулу... И вдруг сознание Ержана, как лисица после *улуу калтарыс* — последнего, великого разворота — рухнуло заживо...

* * *

Айсулу умирала в городской больнице, куда ее привез отец, вызванный на полигон. Первые дни мать была при ней, потом решила съездить к своим престарелым родителям в Семей. В палате с белым потолком Айсулу лежала одна. Глядела на белый потолок и все, что виделось ей на этом белом потолке — степь: дорога от Кара-Шагана до школы. Или обратно. Вот она едет на ишачке вместе с ее пропавшим теперь Ержаном. А вот ослик дергается и хрипит. А вот Ержан сжимает в руке окровавленную кочерыжку.

Кочерыжка... Почему она застряла у нее внутри и растет, растет,

доросла уже до самого горла?

Снова степь. Ишачок. Спина Ержана. Куда они держат путь? Ах, да, это они едут на урок музыки. Степь, степь. Редкие точки могил на горизонте. Одна начинает шевелиться. Ну да, это волк. Тот самый. Они тогда от него убежали. Вернее, заставили его убежать от них. А он, оказывается, все эти годы прятался и вот теперь проник к ней вовнутрь и грызет ее душу и тело, такое длинное, что не умещается уже на кровати.

Ах, Ержан! Как он играл на скрипке, как рисовал, как пел Дина Рида, как входил в воду Мертвого озера, как опекал ее... Ей так хотелось стать его женой, рожать ему детей, таких же талантливых, таких же смелых, таких же преданных. Почему это случилось с ним, а не с ней?! Стоп... Но почему же тогда она здесь, в этой степи на потолке? И где ее Ержан? И где она? Что с ней?

Откуда вдруг появился Капты, их верный пес? Он тогда загрыз лисенка, а потом, учуяв лисицу-мать, начинал скулить, как перед взрывом. Вот и сейчас скулит. Скулит...

* * *

Я проснулся от стука в окно. Серое степное утро. Мы стояли на полустанке, и какая-то непомерно рослая казашка махала в окно чем-то завернутым в газету. Сверху, свесив короткие ноги, смотрел на нее Ержан. Я так обрадовался, увидев его живым и невредимым!.. Я пытался связать то, что он рассказывал вчера целый день, с тем, что я понадумал за эту кошмарную ночь. Похоже, я запутался, как та самая лисица в открытой степи. Где здесь то, что он пережил, а где то, что я выдумал?

Вот он сидит надо мной, 27-летний мальчик, застрявший в своем двенадцатилетнем теле. О чем было *это* все? Время ли, целая эпоха застыла в нем, чтобы вдруг открыться передо мной? Связал ли он собой два мира — мир тел и мир теней, как *Puer aeternus* — *Вечное Дитя*, божественное существо, Гесер или Эрос, которого извечно

искушает небо? *О чем он* — этот маленький человек большой страны, которой уже нет?..

В своей утренней растерянности я чувал себя той самой полой соломинкой, а поезд — тем самым потоком, который несет меня по степи. Куда — среди этих людей, среди их рассказов, среди их страхов и надежд, среди их невысказанных жизней? Какое Мертвое озеро ждет меня, пока я тут пытаюсь разобраться в том, что творится у меня внутри и что реально происходит снаружи?

И хотя я знал умом, что полигон давно закрыт, но то самое ощущение, что описывал Ержан — страх, сидящий в поджилках, — медленно поднимался во мне к солнечному сплетению и выше, выше...

Рослая казашка стучала в окно и размахивала газетой, в которую была завернута то ли рыба горячего копчения, то ли кусок лепешки, то ли катышки курта — высушенного творога. Ержан склонился к окну и, схватившись своими сильными музыкальными пальцами за обе защелки, приоткрыл его: “Саган не керек?” — “Чего тебе надо?”

От оконного скрежета и от шума разговора заворочался внизу и старик-казах, медленно перевернулся с боку на бок — лицом в нашу сторону. Свесившийся с полки Ержан бросил на него быстрый взгляд и вдруг с воплем: “Шакен! Шакен-коке!” — как беркут на лису, кинулся прямо на старика.

Я не на шутку перепугался. Что этот парень сейчас будет делать? Мне померещилось что-то вроде ядерного взрыва: сейчас Ержан задушит этого старика, сил у него точно хватит, и это будет естественный финал всей этой музыкальной какофонии. Но пока я так думал, мои попутчики уже обнимали друг друга. Старик плакал немymi слезами, казашка застыла столбом, не понимая, что происходит внутри купе, а впрочем, и я сам мало что понимал. Разве что чувствовал огромное облегчение — оно, как светло-голубое небо над степью, заполнило меня разом...

* * *

Через час наш поезд остановился передохнуть на каком-то пустом степном полустанке. По тому, как, наспех попрощавшись со мной, Ержан и Шакен (которые до тех пор разговаривали между собой по-казахски, все как-то горестно, со вздохом упоминая одно и то же имя — Айсулу) неожиданно выскочили из поезда со всеми своими пожитками, включая и заплечную скрипку, я понял, что мы стоим *на том самом* Кара-Шагане. Я выглянул в окно. И хотя по двум заброшенным железнодорожным домам нетрудно было догадаться, что это и впрямь был Кара-Шаган, никаких признаков жизни: ни кур, бегающих под карагачом поодаль, ни старика с флажочком, сена, запасенного на зиму, ни даже какой-нибудь коровьей лепешки на степной земле не было видно. Лишь две фигуры — одна согбенно-стариковская, другая порывисто-мальчишеская — удалялись мимо этих заброшенных, нежилых домов в глубь степи, где в мареве встающего, как застывший взрыв, степного солнца виднелось с пяток мазаров-гробниц.

Вот и все.